

Р. 485

**ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ**  
**СПУСТЯ**  
**МНОГО ЛЕТ**

Короткие повести и рассказы ● Короткие повести и рассказы ● Короткие повести





## Елена Ржевская

Детство и юность Елены Моисеевны Ржевской прошли в Москве. Война застала ее студенткой Литературного института имени Горького. С октября 1941 года была в армии военным переводчиком. Институт закончила после войны в 1948 году.

В пятидесятые годы начала печататься в периодических изданиях. В последнее время выходили книги Е. Ржевской «Весна в шинели», «Земное притяжение», «Берлин, май 1945», «От дома до фронта».

КОРОТКИЕ  
ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

Р. 485

542.251 Красный. Т. ма.

# Спустя много лет

Повесть

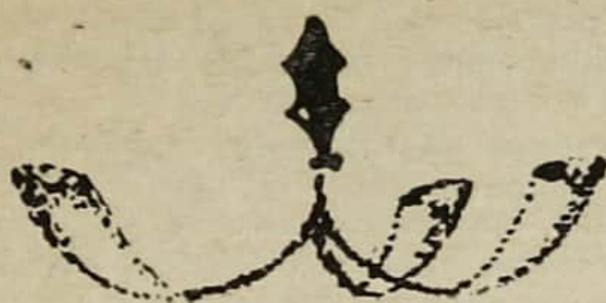
Издательство  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
Москва — 1969

P2  
P48



Герои повести Елены Ржевской — наши современники, рабочие текстильного комбината, Люди самые обыкновенные, они в то же время люди интересные, к которым никак не подходит определение «заурядный», «маленький человек». Объединяет их, роднит и сближает между собой нечто общее, присущее им всем: богатая духовная жизнь, большие чувства, Ситуации, в которых оказываются герои Е. Ржевской, обыденны, как сама их жизнь, и в то же время это — самые серьезные, важные, основополагающие ситуации человеческого существования, требующие для своего разрешения длительных усилий, глубоких решений, душевной стойкости. Повесть Е. Ржевской призывает именно к такому осознанному отношению к жизни, в которой человек — труженик и творец собственного счастья.

7—3—2  
486—68



**1** Августовским вечером Прасковья Матвеевна скромно отмечала свое вступление в брак. Днем сильно парило, и вечер был душный, но Прасковья решила надеть синее шерстяное платье с глухим воротом и длинными рукавами. Она переодевалась за большим шкафом, в той части комнаты, где еще недавно жили молодые — сын с невесткой, а теперь пустовал простенок, прежде занятый их кроватью. Только она успела переодеться, пришла Фаина Козлова, ее давняя подруга.

— Вот, Паня,— сказала она, заметно волнуясь. Шурша бумагой, она развернула принесенный на блюде пирог с яблоками, поставила на стол и сняла с него салфетку.

Прасковья Матвеевна растроганно обхватила худенькую Козлову, и они крепко расцеловались. Поправив сбившуюся шелковую праздничную косынку, Козлова строго взглянула на жениха. Он перестал хлопотать у стола, пригладил пушок, венчиком охватывавший голову, и улыбнулся ей. Козлова протянула ему руку.

Нина Ивановна, нарядно одетая соседка Прасковьи Матвеевны, рыхло сидела на краю дивана. Сегодня утром она спросила у Прасковьи Матвеевны, знает ли Федя о свадьбе матери. Прасковья ответила: «Не докладывалась». И то, что Федя ничего не знал о свадьбе, а Нина Ивановна не только знала, но и была в некотором роде причастна к ней, уговаривая Прасковью Матвеевну согласиться на предложение Николая Арсеньевича, теперь беспокоило ее.

С приходом Козловой свадьба немолодых людей стала простой и естественной.

Прасковья Матвеевна, засучив рукава платья, быстро нарезала хлеб. Веснушчатое лицо ее выглядело молодо.

Николай Арсеньевич принес из кухни соленые грибы и поставил тарелку на стол. Он осмотрел на свет зубцы начищенной вилки и попросил садиться. Пока он разливал по рюмкам водку, у него дрожала рука, и все молчали. Повстречавшись глазами, помедлили. Четыре сдвинутые рюмки звякнули не бойко.

— Будьте счастливы и здоровы,— сказала Козлова.

Николай Арсеньевич выпил, легонько охнул и припечатал ножку рюмки к столу.

— Закуси-ка атлантической, Нина Ивановна.— Николай Арсеньевич пододвинул селедочницу.

— Да, так-то вот,— сказала Нина Ивановна, улыбкою сгоняя с лица хмурость. Больше двадцати лет она знала Прасковью и Николая Арсеньевича порознь, и вот теперь пришлось присутствовать при том, как они соединяют свои жизни.

— А-а, Козлова,— погрозил пальцем Николай Арсеньевич,— до дна, голубушка, до донышка!

Он гостеприимно и ласково ухаживал за обеими гостями. Привстав, раскладывал по тарелкам салат из помидоров, заливное, тушеную картошку со свиной и, снова опускаясь на стул, вытирал лоб большим белым платком.

Козлова сидела очень прямо. Снятая с головы косынка аккуратно лежала на ее плечах, она пила глоточками и почти не дотрагивалась до еды. С лица ее не сходило серьезное выражение.

Она много лет работала в бригаде Прасковьи Матвеевны. И как бы та ни поступила, она никогда не стала бы ее осуждать — так

велики ее уважение и привязанность к Пане. У нее самой и муж и дети, и она понимает, как трудно женщине жить одной, без семьи, какая это неполная жизнь. И все же она с тревогой присматривалась: что сулит Пане эта поздняя свадьба?

Выпили еще по одной и почувствовали себя свободнее. Нине Ивановне слегка ударило в голову, она дерзко выкрикнула:

— Горько! — смутилась и неуверенно повторила: — А что же, на самом деле? Горько!

Прасковья Матвеевна рассмеялась, выдернула из рукава платочек, обтерла рот и, обернувшись к Николаю Арсеньевичу, обняла его за шею. За столом стало оживленнее и уютнее. Николай Арсеньевич снял пиджак и повесил на спинку стула. Выпили еще. Поговорили о том, что вдвоем все же веселее жить, чем одному. Потом незаметно перекинулись на веретена, на пряжу № 54, и стало так шумно, как будто в комнате были не три женщины, а по крайней мере десять.

Нине Ивановне захотелось вставить в разговор что-нибудь свое.

— Не успели полугодовой отчет сдать, а к следующей субботе надо уже подбивать итоги за август месяц...

Николай Арсеньевич отозвался:

— Смотри-ка, загодя составляете.

Пора было разливать чай, и он посматривал на буфет, где лежали накрытый салфеткой пирог, принесенный Козловой, покупные пирожные, печенье. Он просил Прасковью спечь пироги, но она не смогла, некогда было — проводила бригадное собрание по итогам месяца в фабричном саду под грибком. Николай Арсеньевич обиделся было, но она засмеялась.

— Хочешь не хочешь, поймешь теперь работниц. Их ругают за что-нибудь, а они: мы, говорят, всю энергию отдаем. Домой придем — язык вываливается. А ведь мы семейные. Вот теперь и поймешь их.

Но и без своих пирогов все шло хорошо. Помогая выносить тарелки, Николай Арсеньевич шепнул Прасковье на кухне:

— Ах, жалко, Федю не позвали. Видишь, как хорошо все получилось.

Прасковья Матвеевна ничего не ответила.

Уже стоял на столе разлитый в чашки крепко заваренный чай, и Козлова, обмахиваясь косынкой, ждала, чтобы он остыл. Прасковья Матвеевна подняла блюдце на растопыренных пальцах, когда, толкнув дверь, без стука вошел Федор. Он остановился на пороге, молодой, рослый, без пиджака, в синей шелковой рубашке, со свернутой в трубочку газетой в руке. Он зашел с работы. С тех пор как его взяли в конструкторскую группу, он всегда поздно возвращался с комбината.

Федор поздоровался, немного смущенный тем, что застал у матери гостей.

— Приятно кушать.

— Поздравить, сынок, пришел, заходи,— громко сказала Прасковья Матвеевна, опустив блюдо на стол и расплескав чай на скатерть.— В самый раз пришел. Мать замуж выходит.

Сын засмеялся, на лице его, у рта, запрыгали складочки, и он стал очень похож на мать. Все смотрели на него. Николай Арсеньевич поднялся, уступая ему место за столом, а себе пододвинул стул.

— Приятно кушать,— повторил Федор, подсаживаясь к столу. Голос у него был глухой.

— Немного запоздали, Федор Петрович,— мягко сказал Николай Арсеньевич, щелкнув пальцем по пустому графинчику.

— Да ты вникни. Это отчим твой,— громко сказала Прасковья Матвеевна.

Козлова перестала обмахиваться косынкой. Федор, растерянно улыбаясь, обвел всех взглядом, задержался на матери, на ее нарядном шерстяном платье, надетом не по погоде, и перевел взгляд на цветы в кувшине.

— Что ж не предупредила?

— У тебя своя жизнь, у матери — своя,— зачем-то вставая, сказала Прасковья Матвеевна.— А Николай Арсеньевич анкеты твоей не попортит. Был рабочий человек всю жизнь...

— Паня,— сказала Козлова,— сядь, не дури.

— ...Теперь на пенсии отдыхает,— dokonчила Прасковья Матвеевна и, чувствуя, что выпила лишнее, опустила на стул.

Сын не шелохнулся. Николай Арсеньевич потрогал узелок галстука, поднялся, стараясь никого не задеть: «Я сейчас...» — и, взяв с комода кепку, тихо вышел, не надевая пиджака. Никто не обратил внимания на его уход. Сидели молча, потупясь.

— Тут тебя, Федя, вчера одна бабочка спрашивала,— сказала Нина Ивановна.— Приличная такая особа, я ей твой адрес дала.

Федор ничего не ответил, как будто и не слышал.

Нина Ивановна отодвинула кувшин с цветами, заслонявший ее.

— Скоро, что ли, Федя, мы с матерью внуков нянчить будем?

— Как же,— сказала Прасковья Матвеевна,— сейчас ведь не умеют родить. Это раньше умели, а теперь нет.

— Стипендию тебе, мать, принес,— проговорил Федор.

Нина Ивановна вспомнила: он каждый месяц, двадцать шестого числа, приносит матери деньги. Значит, не без умысла Прасковья вечер сегодня устроила: подгадала к сыну.

— Мне деньги кучкой нужны, а не в раструску,— засмеялась Прасковья Матвеевна.

В самом деле, невелика кучка — сто пятьдесят рублей. Прасковья Матвеевна совсем не соглашалась брать у сына деньги («Что я, сама себя не оправдаю?»). Сын настаивал, и едва помирились на ста пятидесяти рублях. Прасковья Матвеевна называла эти деньги «стипендией».

Федор прошел к комоду и незаметно положил деньги, как всегда, в обклеенную ракушками коробку. Вернувшись, сел на прежнее место. Позади, на спинке стула, висел пиджак Николая Арсеньевича.

Прасковья Матвеевна сидела, подперев рукой подбородок. Козлова собирала на скатерти в кучку хлебные крошки. Она смотрела на Федора, точно впервые видела ежик волос, тугой подбородок. Ох, как трудно иметь такого сына! Это даже нельзя объяснить словами почему, но такому — всю себя отдашь.

Вернулся Николай Арсеньевич с поллитровкой, быстро разлил по рюмкам и лишь тогда снял кепку. Мужчины выпили.

— Будем здоровы! — Николай Арсеньевич доверчиво крикнул, оживился, принялся ухаживать за Федором, накладывая в его тарелку закуску.

В молчании, установившемся снова за столом, Николай Арсеньевич повернулся к Федору и, держась за узелок галстука, с расположением смотрел на него.

Прасковья Матвеевна замкнулась, она видела замешательство сына, и в глазах ее были тревога и торжество.

— Ну, ладно, — сказал Федор, наконец поднимаясь. — Будьте здоровы.

Его пробовали удержать. Но он протянул уже через стол руку матери, потом соседке, потом Козловой и напоследок, не глядя на него, Николаю Арсеньевичу. Николай Арсеньевич проводил Федора к двери.

После ухода Федора все почувствовали себя легче, проще. Прасковья Матвеевна украдкой вытерла глаза. Подтолкнув ее в бок, Нина Ивановна запела:

Красота ли, девья красота,  
Красота неоцененная...

Прасковья Матвеевна всхлипнула. Козлова подхватила:

Ты кого, радость, послушала,  
Отца своего с матерью  
Али своих подружек?

От песни, от выпитого вина, от слез стало похоже на настоящую свадьбу. Пока пели, Прасковья Матвеевна успокоилась. Она спросила Николая Арсеньевича:

— А что ты на мне женился? Теперь ведь приказ молоденьких замуж брать.

Николай Арсеньевич добродушно отозвался:  
— Эх, головушка, ты-то окаянней молодой! — И рассмешил всех.

Федор сбежал по лестнице и, очутившись на улице, глубоко вздохнул. В ушах стоял вкрадчивый голос Николая Арсеньевича. Чужой, старый человек словно брал над матерью опеку. Это было нелепо: мать — и опека!

Еще два часа назад, если бы кто-нибудь попытался рассказать Федору о том, чему он сейчас был свидетелем, он бы только рассмеялся. Он прожил почти всю жизнь бок о бок с матерью, и мать в его представлении не менялась, она всегда была выносливой, веселой, о ней все давно было известно: и ее привычки и круг ее забот. И было само собой разумеющимся, что мать не замужем, хотя она вдовствовала тридцать лет и могла выйти замуж второй раз еще молодой женщиной.

Он вспомнил пух на голове Николая Арсеньевича. На что матери нужен этот старый гриб? Ведь он со своей пенсией только на шею ей сядет.

Федор быстро шел, наступая на тени, отбрасываемые на тротуар деревьями и фонарными столбами, подгоняя себя взмахом руки. А мать, казалось, следовала за ним в глухо застегнутом шерстяном платье, с незнакомым воспаленным взглядом: «Да ты вникни, это отчим твой!» Спятила она, что ли?

Федору было не по себе. Он думал, что вот в комнату, где он двадцать лет жил, пришел и расселся чужой человек. Но Федор не привык жалеть себя, а мысли его были жалостливыми. И все же, как ни гони их, правда была в том, что с матерью связь рвалась. Теперь не придешь к ней запросто, теперь подумаешь, прежде чем пойдешь. И это ему было обидно и странно.

На углу проспекта Советов он остановился у лотка с газированной водой. Пока круглолицая продавщица наливала ему воду, он видел, как кружится у нее за плечом сорвавшийся с липы листок. Продавщица спросила, который час. Отвечая ей, он машинально подумал о том, что осталось десять минут до конца смены и Дуся будет дома минут через сорок.

Подгонявший его в спину ветер и лист, запримеченный под фонарем, подсказали — лето кончилось, и он вдруг подумал: а прибор все в том же положении, в каком был весной. И если дело будет идти так, с заданием в срок не управятся...

Он всегда испытывал потребность оградиться от всего, что не имеет отношение к его работе. Время, текучее, не задерживающееся на месте, вечно подгоняло, подстегивало его.

Он продрог. Убыстряя шаг, он шел по проспекту мимо ярко ос-

вещенных витрин магазинов, обгоняя толпу, валившую из кино-театра.

Две женщины с нераспроданными букетами в руках напомнили ему о цветах на праздничном столе у матери. Федор подумал: может быть, и лучше, что мать теперь будет не одна, а то она очень обижалась на него. Зря, пожалуй, он послушался Дусю, когда она настаивала переехать от матери и жить отдельно.

Федор свернул в переулок. Здесь пахло табаком, отцветающим в палисадниках. Было темно. Федор пошел медленнее. И вдруг все то, что успокаивало его, куда-то отодвинулось, уступив место тоске. Федор остановился, настигнутый ею врасплох. «Ого», — сказал он и провел рукой по волосам. Мать — не такая, какой она была сегодня, а прежняя — стояла перед глазами. Он провел ладонью по лицу, ото лба к подбородку. Он готов был бежать назад. «Мать, брось эту затею, останься, как была».

Он втиснул в карман руку со свернутой газетой и быстро пошел дальше.

Его обогнал велосипедист с девушкой на раме, ехавший по тротуару. Федор шел мимо вышедшего на дежурство дворника в белом фартуке, мимо расклейщика афиш, водившего по доске большой кистью. В другое время Федор непременно остановился бы поглазеть на свежую афишу.

Пересекая сквер, он врезался в толпу, кружком обступившую гармониста. Перед ним удивленно и враждебно расступились.

Ай, спешит, спешит, спешит  
К милке на свидание! —

хлестко затянул девичий голос. Гармонист заиграл громче.

В это время загудело на Большой мануфактуре, на комбинате, и в слившихся мощных гудках потонули все звуки...

Когда Федор подходил к дому, ему послышалось, что кто-то окликнул его. Он остановился и увидел быстро идущую ему навстречу женщину в белом платье.

Он сразу узнал эту женщину, раньше чем она приблизилась настолько, что можно было разглядеть ее. Он остолбенел.

— Юлька?

— Федя!

Они порывисто обнялись и поцеловались.

— Ты в Николове? Давно?

Она сказала торопливо:

— Я боялась, не узнаешь.

Гудки умолкли, и ее голос прозвучал очень громко.

— Господи, Федя, — сказала она, тяжело дыша. — Неужели ты?

— А то кто же? — Он засмеялся. — Мне тоже не верится, что это ты.

Держась за руки, они посторонились — еще один велосипедист вез на раме девушку по тротуару.

— Я была у тебя на квартире... На Сосневской улице... Какая-то женщина сказала, что ты переехал, и дала твой адрес...

— Да, да, — сказал он, украдкой рассматривая ее. — Ах, ну да, ведь соседка мне говорила...

Гладкие, уложенные в пучок волосы, белое платье с затейливыми карманами. Как это он узнал ее? Ведь он видел ее только в военной гимнастерке.

— А в Николове-то ты давно? Ты работаешь здесь?

Она нерешительно ответила:

— Нет. Я только вчера приехала.

Они помолчали. Мимо шли рабочие со смены.

Федор сказал:

— Понимаешь, сегодня моя мать вышла замуж.

Юлька тихонько отняла руку.

— Вот и повстречались, — тихо сказал Федор и замашисто провел рукой по волосам. — И не думал... Хутор Занайте — так, кажется, назывался, да? С ветряком на пригорке. С того хутора, значит, не виделись...

— Нет, не в Занайте... На станции в Керенте...

— Верно, — вспомнил он.

— Помнишь? Эшелон отходит... Ты побежал по шпалам. Ребята тебя втащили в вагон, ты снял фуражку и помахал... — Она оживилась. — Федя, ты Уварина из нашей дивизии помнишь?

— Еще бы!

— Так это я от него узнала твой адрес. Иду в Москве по улице...

— А ты в Москве жила?

— Ну да. И вдруг смотрю — Уварин в шляпе, а такой же рябой...

— Ну и Уварин! Всегда обо всех в курсе...

Он силился припомнить, какие у Юльки были волосы в армии.

— Вот так случайно узнала, где ты живешь. И надумала поехать...

— Да?

Она ответила смело:

— Повидаться решила.

Он невольно огляделся, точно хотел полнее оценить несуразность того, что происходит сейчас здесь.

— Ну, а живешь-то ты как? У тебя семья? Ты замужем?

— А ты?

— Я-то? — грубовато сказал Федор. — Да уж три года женат. Шофер, медленно ехавший на «Победе» вдоль тротуара, посигналил им из озорства.

Юлька зажала сумочку локтем и зачем-то пригладила волосы.

— Мы тут стоим...

— Ну и что? — Он перебил, улыбнувшись, и взглянул на часы. — Она сейчас придет.

— Сейчас?

— Да. С работы. Ты где остановилась?

— Как — где? В гостинице, — Юлька протянула ему руку.

— Пойдем, — сказал Федор, — провожу тебя.

— Нет, нет, — заупрямилась Юлька. — Не надо.

— Да нет, как же так?

Он вдруг увидел вдалеке Дусю, идущую к ним навстречу с чемоданчиком в руках.

— Ну, ладно, — растерянно сказал он. — Я пошел.

Они попрощались. Федор нерешительно направился к подъезду, но передумал и пошел навстречу Дусе.

— Ты что? — обеспокоенно спросила она, удивленная тем, что он вышел встречать ее. Лицо у Дуси было бледным от усталости.

— Да ничего.

Они пошли рядом. Федор сказал:

— Мама нашла себе какого-то старика. Взяла его к себе.

Дуся остановилась.

— Что это она? Да зачем это ей? — Поглядев на Федора, она замолчала.

Они пошли дальше. Дуся взяла Федора под руку, а он обрадовался ее прикосновению. Из-за матери, из-за Юльки, из-за всех наваждений сегодняшнего вечера у него под ногами было непривычно зыбко.

— Федя, ведь холодно? Что пиджак не надел?

Он покачал головой. С облегчением, перескакивая через две ступеньки, вбежал на второй этаж и осторожно вставил ключ в замочную скважину. В квартире было темно, все спали.

Комната, которую они снимали в чужой квартире, была маленькой, метров девяти. Кроме кровати, перевезенной от матери, в ней не было ни одного предмета, принадлежащего им. В платяном шкафу их вещи висели вперемежку с вещами хозяев. В узком одностворчатом книжном шкафу Дуся держала посуду, сахар, хлеб. Был здесь еще квадратный стол, ножная швейная машина, покрытая яркой набойкой, и тумбочка, на которой Дуся расставила зеркало, пудру и две большие чашки, подаренные ей бригадой, когда она вышла замуж.

Федор включил свет и вспомнил, что собирался сегодня вечером

рассчитать схему передачи для прибора. Теперь уже было поздно, пора спать, да и голова гудела, но он привычно подсел к столу.

Дуся развязала косынку и встряхнула мокрыми волосами — она мылась под душем после работы.

— Ужинать будешь?

Он покачал головой.

— У матери поел.

Дуся хотела расспросить о свекрови, но что-то остановило ее. Переобувшись в тапочки, она тихо вышла на кухню.

Федор вдруг вспомнил, что в армии у Юльки были короткие пышные волосы, прикрывавшие лишь уши. И, вспомнив наконец, он почувствовал какое-то облегчение. Они даже не спросили друг друга, как жили, как работали все это время. И ведь надо же, решилась, приехала, ничего не зная о нем. Да если бы даже он не был женат, ведь сколько воды утекло. Ох, Юлька, Юлька...

Дуся на краю стола пила молоко с хлебом. На лбу, на висках у нее высохшие прядки волос посветлели и свернулись колечками, маленькие сережки в ушах приветливо поблескивали. С мокрыми волосами она выглядела еще моложе, чем обычно. Они встретились глазами, и Дуся сонно улыбнулась. Она поднялась и принялась прибирать со стола.

Федор сидел над тетрадкой, не видя цифр, подперев ладонями лоб, и слышал, как за его спиной Дуся возилась в комнате, стелила постель.

**2** . Номер в гостинице, где поселилась Юлька, был двухместным. Но первые два дня вторая койка пустовала. А как раз на другой день после встречи Юльки с Федором, под вечер, в номер, не постучавшись, вошла высокая женщина в велюровом берете с пером. Они поздоровались. Женщина, оглядевшись, повесила на вешалку зеленый плащ, который несла на руке, и задвинула под кровать большую кожаную продовольственную сумку. Юлька, лежавшая на постели в платье, поспешно встала. Поправив одеяло и застегнув кнопки на груди, она прошла к окну, освобождая проход между кроватями.

В комнате, где она наедине с тяжелыми мыслями провела много часов, просто и по-хозяйски размещалась незнакомая женщина.

— Вы откуда будете? — вежливо спросила Юлька, хотя это несколько ее не интересовало.

Женщина повесила берет на шпичку кровати и обернулась. В лице ее, в посадке головы Юлке почудилось что-то значительное. «Геолог или, может быть, учительница», — подумала она. Жен-

щина объяснила: она из Фурманова, это три часа езды отсюда. Приехала на семинар работников системы ВОС.

Юлька не поняла.

— ВОС,— сказала, улыбнувшись, женщина,— Всероссийское общество слепых, понимаете? Каждый год съезжаемся на семинар.

Юлька недоумевающе посмотрела на нее.

— Чего ж тут не понимать? — улыбнулась женщина.— Я работаю в артели слепых начальником цеха.

— У вас слепые работают? В вашем цеху?

— Да. У нас цех валенок. А вы из Москвы?

— Да. Мне тут нужно на текстильную фабрику,— сказала Юлька, вспомнив, что Уварин говорил ей, будто Федор работает на каком-то текстильном предприятии.

Женщина не стала больше расспрашивать, она куда-то заторопилась.

Из репродуктора на площади в открытое окно доносился голос московского диктора. Внизу, под окном, громко разговаривали. Юлька зажгла свет, задернула шторы. Она не выходила из номера, все чего-то ждала, прислушивалась к шагам в коридоре.

Вернувшись, соседка присела с края стола, развернула кульки, поела, потом взбила подушки и быстро нырнула под одеяло.

А Юлька снова лежала в платье на постели.

В дверь постучали. Юлька вздрогнула, вскочила с колотящимся сердцем, повернула ключ в замке. За порогом стоял маленький пьяноватый мужчина.

— Вам кого? — сурово спросила Юлька.

— Родионову.

— Какую Родионову?

— Лидию. Лидию Родионову.

Соседка зашевелилась, приоткрыла глаза. Из-под одеяла выглядывали ее голые плечи. Юлька наконец сообразила.

— Родионову Лидию спрашивают. Это вы?

Соседка махнула рукой.

— Скажите — спит.

Она лежала, красивая, на разложенных по-домашнему — одна подле другой — подушках, словно кто-то должен был лечь рядом.

Юлька, приоткрыв шире дверь, сказала:

— Она спит.— И заперла дверь.

— Это наш, с семинара,— сонно сказала Родионова.— Договаривались в кино пойти.— И повернулась на другой бок, лицом к стене.

Нетрезвый, плохонький дяденька. А все же Родионова Лидия кому-то нужна.

Утром соседка мылась над раковиной, пустив сильную струю воды. Торопясь на свой семинар, она не сходила за кипятком и, завтракая, подливала в стакан холодную воду из графина. Она спросила Юльку о Москве.

— Шумно,— сказала, лежа в постели, Юлька, думая о том, что с Москвой для нее покончено.— Тяжело переносить такой шум.

— А я бы, кажется, жила и жила в Москве. Так бы никуда и не уезжала. В прошлом году в отпуске гостила у сестры. В магазин войдешь — чего только нет. Как во сне!

Быстро покончив с едой, она, заслонясь от Юльки плечом, поднося к глазам ладонь с зажатым в ней зеркальцем, торопливо и долго мазала кремом лицо, пудрилась.

— Ох, что же это я,— спохватилась Лидия.— Опаздываю...

Она энергично просунула руки в рукава зеленого жесткого плаща и надела велюровый берет с пером.

Юлька лежала и слушала, как булькает скопившаяся в раковине, медленно протекавшая вода. Когда она наконец поднялась, за окном лило, и она пожалела, что не предложила Родионовой зонтик.

Она ходила по комнате в длинной ночной рубашке, с болтающейся по спине косой.

За дверь уборщица переговаривалась с жильцом и смеялась в полный голос. Слышно было, как она стучала совком о ведро, сбрасывая мусор. Громыхало переставляемое с места на место ведро, и его дужка звенела.

Юлька вымылась, расчесала волосы и, сильно стянув их, сколола на затылке в большой и небрежный пучок. Белое платье от лежания на кровати измялось, да и погода переменилась. Юлька достала из шкафа светло-серую юбку и лилового цвета свитер. У Юльки был смуглый цвет кожи, поэтому губы она не красила — ей не шло. Зато ресницы она накрасила густо, как всегда. Она знала: ее голубые глаза становятся больше и ярче оттого, что накрашенные ресницы загнуты вверх, а волосы гладко зачесаны.

Она привыкла к тому, что ей смотрят вслед. Ее привлекательность — это был, пожалуй, подсознательно основной Юлькин довод в жизни. Всем превратностям она могла противопоставить только свою привлекательность.

Юлька спустилась на второй этаж в буфет. Двое мужчин пили пиво, сидя за столиком и держа в руках на весу портфели, и не обратили на Юльку внимания.

Буфетчица, крашеная блондинка с мушкой на щеке, посмотрела на нее с интересом.

— Что для вас?

Юлька пила кофе со сладкой булочкой. Размахивая портфелями, поднялись и ушли двое мужчин.

— Заходите,— приветливо сказала Юльке буфетчица.

Подходя к своему номеру, Юлька услышала — за дверью заливается телефон.

Седая женщина в окошке дежурного администратора услужливо рылась в своих карточках.

— Возможно, уехала обратно в Москву,— сказал Федор.

— В семьдесят шестом,— сказала дежурная.

Он поблагодарил и направился к лестнице. Но тут другая женщина, сидевшая за маленьким столиком с телефоном, задержала его. Выяснив, в какой номер и к кому он идет, она сняла телефонную трубку. Юлькин номер не ответил.

— Погуляйте,— посоветовала женщина,— возможно, вышла.

Федор нетерпеливо прошелся по вестибюлю.

В открытой двери с улицы появился безногий инвалид в холщовой куртке, с солдатским вещевым мешком за плечами. Отталкиваясь колодками от пола, он прокатил на своей тележке по вестибюлю к стеклянной двери, на которой выведено: «Ресторан «Москва». Навстречу ему вышел гардеробщик и загородил собой дверь.

До Федора донеслись обрывки фраз: «Ресторан 1-го разряда... Нельзя, гражданин...»

Погруженный в свои мысли, Федор не сразу понял, что происходит. Гардеробщик, слегка наклонившись к инвалиду, что-то втолковывал ему.

Федор подскочил в тот момент, когда инвалид поворачивал свою тележку, и увидел его бледное спокойное лицо.

— Что вы делаете? — взбешенно крикнул Федор гардеробщику.— Кто вам позволил?

Гардеробщик пожал плечами.

— Вы его, что ли, поднимать на стул будете?

— Буду! — крикнул Федор.— И тебя заставлю!

— Публика может возражать. Ресторан первого разряда...

Федор оглянулся — инвалида уже не было. Он выбежал на улицу, добежал до угла гостиницы, завернул, побежал обратно, снова свернул за угол. Пока Федор мотался вокруг углового здания гостиницы, инвалид исчез. Гардеробщик, стоя в дверях, следил за Федором. Он торопливо посторонился, когда Федор проходил мимо.

— Какая сволочь тебя этому учила? — сдерживаясь, спросил Федор.

Дежурная за столиком поспешно снова набирала Юлькин номер. Но Юлька уже сбегала по лестнице вниз.

— Федя!

Он обернулся, лицо у него было взволнованным.

— Пойдем отсюда.— Он потянул ее.

Они быстро поднимались по лестнице, и Федор рассказывал о том, что произошло.

— Взять хотя бы одну Глебовскую переправу. Помнишь? Сколько там ребят покорежило!

Юлька отозвалась:

— Да, на Глебовской он нам давал.

Они пошли в номер и огляделись, не зная, куда бы сесть.

— Господи, Федя, это же настоящий гад! — Юлька смахнула со стола крошки.— Садись.

Они сели к столу, положили на стол локти. На Федоре был темный пиджак, Юлька только сейчас заметила, как Федор возмужал, раздался в плечах.

— С Глебовской переправы, помнишь,— сказала она, чувствуя себя увереннее в их прошлом,— ты пришел весь обледенелый. И шинель и все-все...

— Помню.

— А помнишь, в Дорофеевке твою пилотку осколком снесло?

Федор засмеялся. Ему было приятно, что Юлька помнит все это. Фронтовые воспоминания были дороги ему, они трогали его, как будто речь в них шла не о нем самом, а о хорошем его друге, славном малом.

— Я, знаешь, как трубил эти годы? Техникум вечерний одолел. Теперь вот в заочный институт поступил...

Юльке еще в армии очень нравилось, как Федор говорит на «о» — простовато и как-то сосредоточенно. Она слушала его, подперев ладонью щеку.

— Подумать, Федя, как мы близко друг от друга жили все эти годы! Всего десять часов езды!

Федор кивнул.

Юлька сказала:

— На фронте все равно кем быть. Официанткой, судомойкой — все равно, не обращаешь внимания. А в мирной жизни все разбирается по полочкам: получай, чего заслуживаешь...

Федор посмотрел на ее порозовевшее лицо, на гладко стянутые волосы, накрашенные ресницы.

— У тебя семья, дети?

Юлька ответила неохотно:

— Детей у меня нет.

— Я почему спрашиваю — когда спросил тут внизу, в окошке, подумал, а может быть, у нее другая фамилия...

Она поднесла руки к затылку, поправляя пучок, и этим незна-

комым Федору жестом отделила ту Юльку, которую он знал, от этой сидящей против него женщины.

— Ох, Федя,— помолчав, сказала она.— Рассказать бы тебе...

— Ты о чем? — Он пытливо посмотрел на нее. Он не мог доискаться в ней какой-то определенности, которая была в окружающих его людях.— Чего ж молчишь?

— Как-нибудь в другой раз...

— Ты замужем?

— Была.

За дверью заспорили горничные, пересчитывая белье. Дежурная громко сказала:

— Меньше болтайте по пустякам.

И снова стало тихо.

— А ты изменилась...

— Постарела?

— Да нет. Не в том дело.

Юлька покраснела и пожала плечами.

Федор положил руку на ее голову и провел по волосам. Юлька податливо и растерянно наклонила к нему голову. Он гладил ее по голове, и рука испытывала какое-то совсем новое, незнакомое ощущение — ведь тогда у нее были пышные короткие волосы.

— Ну, мне пора,— неожиданно сказал Федор.

Юлька поднялась. А он все еще сидел. Юлька была похожа на прежнюю и в то же время совсем другая, непонятная Федору со своими накрашенными ресницами. «Неприкаянная», — наконец-то нашел он.

Он встал. У двери они задержались. Федор неловко переминался. Недоумение от их встречи, от приезда Юльки только усилилось в нем. Юлька, потускневшая, сложила на груди руки и прислонилась к косяку. Она вдруг поняла всю нелепость порыва, приведшего ее в Николово, в эту гостиницу. Она громко вздохнула.

Они простились. Юлька вышла проводить Федора до лестницы. Здесь они еще раз крепко пожали друг другу руки. Федор спустился площадкой ниже и оглянулся. Юлька помахала ему рукой.

**3** Тридцать пять лет назад юный чапаевец, попав после госпиталя домой на двухнедельную побывку, познакомился с молодой прядильщицей в кумачовой косынке на рыжих волосах. И хотя чапаевцу через несколько дней надо было возвращаться в полк и его подруге исполнилось едва ли семнадцать, она бесстрашно назвала его мужем.

На марше, где-то под Уфой, красноармеец Барулин узнал, что у него родился сын. Он увидел его, когда отгремела гражданская. Но недолго прожил с семьей — полученные на фронте ранения свели его в могилу вскоре после возвращения домой.

Его сын, Федор, рос с матерью. Федор уже второй год ходил в школу, когда мимо их дома — они жили тогда еще в двухэтажном доме, бывшей собственности купца Гандурина, — со знаменами и пением прошли первые отряды строителей рыть котлованы для нового комбината. Это было на другой день после ноябрьских праздников, и по всей улице развевались еще не снятые флаги. За колонной бежали ребята, и с ними Федор.

А еще через полтора года мать взяла его с собой на праздник пуска первой очереди комбината.

С трибуны говорил Михаил Иванович Калинин. Вокруг на гудах кирпича, на железных балках, на щебне тесно стояли люди. Кто-то посочувствовал мальчишке, и Федора посадили на дерево. По окружной дороге подошел поезд — прибыли рабочие из Кохмы. И все пошли за Калининым. У входа на прядильную фабрику он перерезал ленточку. Включили ток. Приехавшие из Узбекистана дехкане в пестрых халатах бросили в машину первые пучки хлопка. До позднего вечера люди шли и шли через цехи — весь город хотел участвовать в празднике.

На дворе играла гармонь, и мать, приведшая на комбинат с «Красной прялки» свою бригаду, молодая, в красной косынке на голове, плясала на щебне...

В фабзавкоме хранится пожелтевшая приветственная телеграмма: «Поздравляем передовой отряд революции николовских рабочих-текстильщиков. Крупнейшая победа на фронте соцстроительства претворения в жизнь лозунга Партии догнать и перегнать. Огромное значение по выполнению хлопчатобумажном ассортименте острейшего дефицита одежных тканей. Москва. Оргтекстиль».

Поступив после войны на комбинат, Федор первое время удивлялся, что люди торопливо проходят мимо бронзовой доски на стене, у входа на прядильную фабрику, где покоится прах Орлова — героя гражданской войны и организатора строительства комбината. Сам он невольно замедлял здесь шаг. Но постепенно и он привык быстро проходить мимо бронзовой доски.

Сегодня, идя на работу по скрипучей, посыпанной шлаком аллее, он увидел мать в кружке женщин, заступавших на смену.

Гудела кукушка — маленький паровоз комбината, дрожали стены прядильного корпуса, и Федор шел с чувством бодрости, которое он всегда испытывал, входя в ворота комбината. Он подумал: «И что это женщины так боятся одиночества?» И опять вспомнил, что в городе Юлька.

В пустой комнате конструкторского бюро он постоял, крепко расставив ноги и насвистывая. Он приходил сюда раньше всех. Он вообще готов был поселиться здесь и не выходить, пока не закончит работу.

Парторг комбината Карнаухов, сидя за письменным столом в своем кабинете, положил карандаш и нажал кнопку.

Секретарь Варвара Алексеевна медленно прошла по длинному кабинету и остановилась перед письменным столом. Карнаухов продолжал писать. Наконец он поднял лицо, и взгляд его из-под сдвинутых бровей упал на ее худые ноги в белых носках. Карнаухов побарабанил пальцами по настольному стеклу и взял другой карандаш из стаканчика.

Хорошо заточенные карандаши — единственное его требование. Больше ни одной личной просьбы, никаких личных поручений за все три года совместной работы.

Приподняв плечо, Варвара Алексеевна снисходительно думала о том, что все же сегодня он мог бы не заставлять ее ждать.

Стенные часы ударили один раз. Варвара Алексеевна покашляла и надтреснутым голосом старой курильщицы спросила:

— Вы вызывали?

— Материалы комиссии готовы?

— Печатаю.

— Соедините меня с главным инженером.

Она повернулась и пошла по длинному кабинету, унося в приподнятых бровях снисходительный укор.

— Возьмите трубку, — сказала она, снова появившись в дверях кабинета.

— Афанасий Николаевич? — заговорил Карнаухов. — Я по поводу приказа министра. Точнее сказать, наших мер...

Вернувшись в приемную к своему столу, Варвара Алексеевна раскурила потухшую папиросу.

Она печатала на машинке и думала о том, что завтра будет далеко отсюда, а здесь на комбинате еще долго будут переживать эту неприятность — попали в приказ министра за плохое использование новой техники.

Раздался звонок. Варвара Алексеевна поднялась.

— Попросите ко мне Барулина.

Федор был членом парткома, и ему часто приходилось встречаться с Карнауховым. И все же всякий раз, когда Варвара Алексеевна, в своем черном жакете, с жестко навитыми седыми волосами, заглядывала в конструкторскую группу и произносила обесцвеченным голосом: «Товарищ Барулин, вас просит Александр

Егорович», — Федор ощущал какое-то смутное беспокойство и в то же время чувствовал себя приподнято. Карнаухов в его глазах был хозяином на комбинате, в большей даже степени, чем директор, и Федор, как все, побаивался его, но уважал и не представлял себе комбината без Карнаухова.

Вот и сегодня, вызванный Варварой Алексеевной, Федор стремительно вошел в кабинет парторга. Карнаухов крепко пожал ему руку и спросил с требовательным интересом:

— Как с прибором для прядильных машин? Какое сегодня число, помнишь? — И искоса глянул на синюю папку, где собрано было то, что парторг держал «на контроле».

Федор, садясь на стул сбоку от Карнаухова, пригладил волосы и заговорил с охотой:

— Мы, Александр Егорович, пошли сейчас другим путем...

Требовательное ожидание Карнаухова подстегивало Федора. Каким заманчивым рисовался ему тот день, когда он наконец сможет сказать Карнаухову, что прибор готов, и услышит от него слова одобрения.

— Понимаешь, ищем новое решение... Вот в чем загвоздка... К тому же механические мастерские волынят, не выполнили до сих пор наш заказ...

У Карнаухова большелобое лицо с высоко снятыми на висках темными поблескивающими волосами. Он плечист на одну сторону. Другое плечо спадает, и искусственная рука вложена в карман пиджака.

— Срок поджимает. — И, постучав карандашом по бумагам раскрытой контрольной папки, Карнаухов сказал: — На объективные причины уже поздно ссылаться. Спросим с тебя. Имей в виду.

С тех пор как на комбинате парторгом стал Карнаухов, начальники цехов знали: не выполнишь плана — схлопочешь себе выговор, но не роптали на такую строгость. Так и Федор. Все же резкость Карнаухова показалась ему незаслуженной. Он закатал и снова раскатал рукав спецовки.

— Мы ведь не прохлаждаемся...

Но Карнаухов не слушал. Он взялся за телефонную трубку и вызвал начальника механических мастерских.

— Карнаухов говорит. Что это у тебя делается? Заказ конструкторской группы маринуете. Наведи порядок, товарищ Свиридов, убедительно прошу тебя. Беру на контроль.

Он положил трубку на рычаг и побарабанил пальцем по стеклу.

— Вот так, — сказал он. — Надеюсь, теперь наш с тобой заказ мариновать не будут. Я прослежу.

Федор знал у Карнаухова эту черту: встретит в штыки, отругает, но всячески поможет.

— Александр Егорович,— сказал он с чувством,— не подведем.

Заговорили о приказе министра, и тон разговора сразу переломился. Федор пробежал глазами уже знакомый ему приказ: «Безобразное положение с освоением новой техники. На Николовском комбинате механизмы высокой вытяжки до сих пор не используются». И молча встретился взглядом с Карнауховым. Оба они, как показалось Федору, подумали об одном и том же: хотя эти новые механизмы не используются по вине главка, но теперь престиж комбината подорван и переходящее знамя трудно будет удержать.

Карнаухов прижал мизинцем коробок к столу и с усилием зажег одной рукой спичку.

— Завтра соберем партком. Мероприятия разработаем.— Он раскурил папиросу.— Придется крепко взяться за Волкова. Строго спросить с него...

Федор удивленно посмотрел на Карнаухова.

— С Волкова? При чем он тут?

— Старший мастер в цехе. Ответствен за технику.

— Ну, знаешь, это если формально...

Механизмы высокой вытяжки в прядильном цехе предназначались для тонких сортов пряжи, которые сейчас на комбинате не изготовлялись.

— Не может же старший мастер по своему усмотрению изменить номера пряжи и заправить эти механизмы...— сказал Федор.

— По-твоему, выходит, нет виноватых,— вяло сказал Карнаухов.

— Сам знаешь, главк должен был пересмотреть ассортимент, раз появилась новая техника... В самом деле, никто не торопился — ни главк, ни комбинат. На низких номерах пряжи работать спокойнее: меньше обрывность нити и выше производительность. Вот и дождались...

— Ну, это несерьезно, Барулин. Так на критику не реагируют. Сами вы, мол, виноваты, а наша хата с краю.

— Значит, ищи стрелочника...

Карнаухов глубоко затянулся и, щурясь от дыма, спросил:

— Вы, кажется, приятели с Волковым?

Федор вспыхнул.

— Ну и что?

— Мы должны руководствоваться пользой дела. А личные отношения...

Тихо вошла Варвара Алексеевна и курила, грустно и заинтересованно прислушиваясь к их разговору. Карнаухов поднес папиросу к пепельнице одновременно с Варварой Алексеевной, стряхнул пепел. Оба они курили только «Беломор».

— Вот материал комиссии в трех экземплярах,— сказала Варвара

Алексеевна.— Я не нужна больше? Могу я идти? А то мне еще укладываться надо...

Карнаухов кивнул ей.

Варвара Алексеевна прошла к стенному шкафу, где все три года рядом с карнауховским висело ее пальто. Пока она одевалась, в кабинете молчали. Федор хмуро уставился в пол, он встал и рассеянно пожал протянутую Варварой Алексеевной руку.

Карнаухов вышел к ней из-за стола.

— Бросает нас Варвара Алексеевна.

— Что ж делать, семейные обстоятельства.

— Пишите же нам, как вы устроились.

— Непременно,— дрогнувшим голосом пообещала Варвара Алексеевна.

Закрывая за собой дверь, она слышала, как Карнаухов громко сказал Барулину:

— Есть мнение — мы тут обменялись в рабочем порядке — заострить на примере Волкова внимание всего коллектива... Прими к сведению как член парткома...

Варваре Алексеевне нравилось умение Карнаухова оперативно ставить вопрос. Директор с главным инженером еще не пришли в себя от приказа министра, а партком уже действует.

Варвара Алексеевна накинула черный клеенчатый чехол на машинку — кто-то будет стучать теперь на ней? — и ушла.

— Вот так,— сказал Карнаухов.— Проведем заседание парткома — и за дело.— Откинувшись в кресле, он говорил громко, точно Федор был в другом конце кабинета.

Федор вдруг подумал с тревогой: Карнаухов никогда не стал бы ходить тайком на свидание в гостиницу...

**4** Было это так. В деревенском доме на лавках сидели офицеры армейского резерва в шинелях не по росту, полученных в госпитале и надетых поверх стеганых фуфаек. А в углу девушка в гимнастерке пела под гитару.

Федор вошел в дом, тихо стащил со спины вещевой мешок и сел на лавку.

Девушка кончила петь. Офицеры дружно попросили:

— Юля, спой еще.

Девушка не стала ломаться, перебрала струны и с охотой запела:

...И черемухи ветреный иней  
Уберет жемчугами твой сад...

Хорошо ли она пела? Наверно, хорошо. Песня горько томила. Когда над крышей, противно воя, прошел снаряд, никто не выру-

гался ему вслед. Все зачарованно смотрели в красный угол — откуда такая свалилась в армию?

В резерве не засидишься. Федор снова был направлён в артполк. Юлька — в столовую штаба дивизии.

В столовой чистила мерзлую картошку. В обеденный час потуже заправляла за ремень гимнастерку и подвязывала белый фартук. Подав обед, мыла посуду, скребла котлы, а к ужину опять надевала белый фартук. Спала с девушками тут же, на столах, не раздеваясь: раздеваться было строго запрещено, ждали наступления немцев.

Ночью в столовую приползал слух: немецкие танки в Антиповке.

— От, будь они прокляты! — вздыхала на соседнем столе толстая Шура и, повернувшись на бок, засыпала, сопя и посвистывая.

Что ни день деревня Антиповка переходила из рук в руки.

Юлька лежала обутая, закутавшись в одеяло, дрожа от озноба. Она помнила, как немецкие танки вступали в ее родной город Старицу.

Когда штаб дивизии переезжал на новое место, Юлька мерзла на мешках сухарей неприкосновенного запаса. Въезжая в лес, с ходу заправляли снегом котлы, и дымок столовой первым осваивал новый КП.

Обстрел Юлька переносила легко. Но еще в первое лето войны, когда школьники Старицы рыли противотанковый ров за городом, Юлька попала под жестокую бомбежку, и с тех пор осталась травма. Если часовой на деревенской улице кричал «Воздух!» или доносился отвратительный, сверлящий звук в небе, все выбегали из дому на улицу и, смотря по обстоятельствам, стреляли вверх или ложились. Юлька же забивалась в подпол.

В деревне Сытьково у хозяйки было шестеро маленьких детей.

— Ребята у меня дробные, — виновато говорила она.

Юлька вместе с ней совала в подпол ребятишек и, прижавшись к ним, сидела в темноте с замирающим сердцем.

В распутицу в столовой три раза в день разводили в котлах концентрат манной каши. Для вкуса на столы ставили горчицу. Люди в непросыхающих сапогах хмуρο ели, стуча ложками.

Было по-всякому. Но в праздники сдвигали в сторону столы, гремел баян, и Юлька увлеченно кружилась в танце, при каждом повороте отбрасывая голову.

Весной по ночам в калининских лесах заливались соловьи, пахло травой. Тревожно щемило сердце.

У кого какое заветное желание? Шура смеялась:

— Вареников с вишнями вволю поесть.

Юлька вздыхала чистосердечно:

— Влюбиться. Когда война кончится, конечно.

— А может, война еще пять лет протянется?

— Может, протянется, а может, нет.

Ночью вдалеке за полем немец бросал ракеты. Гулко стучали пулеметы на передовой. Все это было как обычно. Но было и звездное небо над головой, и соловей, и тревожный запах весеннего леса, когда Юлька первый раз в жизни поцеловалась.

— Где тебя носит? — Шура ворчала. — Днем на ходу спать будет. А ты ж за нее отдувайся.

Ни лихости, ни настойчивости в ухаживании — ничего этого не было у Федора. Появляясь в штабе дивизии, он заходил в столовую, и они тепло встречались с Юлькой — как-никак старые знакомые, вместе провели несколько дней в резерве. А на войне и таким знакомством дорожат.

Может быть, поэтому она и потянулась к нему. А может быть, просто пришло Юльке время любить. Вот так и началось, тихо, ни с чего как будто.

Теперь по ночам, тайком от своего начальства, Юлька ускользала с КП.

Добиралась в дивизион по проводам связи, выжидая в кювете, чтобы перебежать пристреливаемую немцами дорогу, пока наконец ее не окликал сиплый от ночной сырости голос часового: «Стой! Пропуск!» — и она различала заставленную елочками штабную машину и оружие, накрытое маскировочной сеткой, — она была дома.

Федора смущала ее безудержность, неловко было перед бойцами. Потом это прошло, к Юльке быстро привыкли.

Дивизия, обогнув Холм-Жарковский, рвалась к Смоленску. И порыв наступления и любовь — все это слилось для Юльки вместе, и казалось, это и есть жизнь, самая настоящая, и ей не будет конца.

Как-то в деревне, на коротком постое, молодая хозяйка, проводившая на фронт мужа, доверилась Юльке:

— Вот нажила близкого человека, теперь покоя нет.

Так и у Юльки — нет покоя. Вдали от Федора она, повзрослевшая, молчаливая, тревожится, все ждет чего-то. И дождалась, что однажды за ней прислали из дивизиона: Федора ранило.

Отвязала фартук и бежала, спотыкаясь, через поле...

Уже продвигались по Латвии, когда Федор вернулся из санбата. В столовой дивизии не было больше толстой Шуры — ее схоронили под городом Красным, погибла при артиллерийском налете.

В октябре дивизия участвовала в боях за Ригу и вышла к морю. Артполк был переброшен на другой фронт. Уехал с полком и Федор.

«Война, — говорили, — война все спишет». Нет, Федор так не рассуждал. Он привязался к Юльке, сучал по ней.

Но отношения их все же, казалось ему, временные, ненастоящие. Вот когда-нибудь потом, отвоевавшись, и он заживет, как

люди, женится. Письма от Федора приходили Юльке не часто, потом переписка и вовсе оборвалась.

В День Победы в Прибалтике в воинских частях стреляли в воздух, пили, что было выдано, и сверх того, что могли раздобыть, пели песни.

Отпраздновали победу, и все опостылело Юльке. Чужбиной показалась земля с ветряками на холмах, с отличными дорогами, с высокими крестами у одиноких хуторов.

Люди потянулись по домам. Но Юлька и представить себе не могла, как она снова заживет в маленьком домике в Старице. О чем будет говорить, что делать, чего ждать? Ничего не осталось от прежней резвой Юленьки. В лесу, где теперь лишь ветер забрасывал землей блиндажи, на фронтовых дорогах, на чужом пепелище, да там, где могила Шуры, остался ее дом. Было плечо любимого под головой, и рожь или хмель, Россия или Латвия, звезды над ними или бревна блиндажа — все дом. Разве это понять маме? Куда ж теперь идти, где обжиться?

**5** Юлька все еще жила в гостинице. Ей нравилось, что в ее отсутствие кто-то невидимый прибирал в номере. Пол паркетный блестел, в пепельнице не было огрызков яблок.

Ее соседка по комнате Лидия Родионова уехала, Юльке грустно было прощаться с ней, она привязывалась к людям, с которыми ей приходилось жить.

Вечером появилась новая соседка. Раздевшись, встряхнула пальто, разбрызгав капли дождя, прошла по комнате, заложив руки в карманы синего форменного платья связистки, круглолицая, молодая. Сообщила, что добиралась в Николово пароходом и на попутных машинах и что приехала на совещание.

— Что-нибудь новенькое по нашему производству узнаем.

Новая соседка поинтересовалась, откуда прибыла Юлька, где работает, кем.

Она съела два крутых яйца, взглянула на часы, сказала:

— Продовольственный до двадцати трех, а промтоварные — до двадцати ноль-ноль.

И выбежала из номера.

Днем Юлька оставалась в номере одна. Здесь все было изучено ею: шелковый абажур, спускавшийся с потолка на шнуре, — в его бахромке навсегда уснула осенняя муха; инвентарная опись, которую Юлька знала наизусть, и сбоку у двери большими черными буквами напоминание: «Уходя, гаси свет!» Облокотившись о деревянный обшарпанный подоконник — масляная краска на нем лупилась, от-

того что на подоконник ставили горячий чайник,— Юлька смотрела в окно. Лето непривычно затянулось, и хотя дождь лил часто, снова быстро прояснялось, голубело небо. Где-то по соседству в номере выпиливали на скрипке одни и те же упражнения — без конца.

Юльке вспоминалась комната убитой немцами тетки в старицком домике, где сейчас жил впущенный матерью квартирант. Раскрашенное восковое яичко в серебряной подставке на комод. Коробка с перламутровыми пуговицами и бисером, семейный альбом. И то, как пахло в комнате — старыми теткинским плюшевым пальто и неуклюжим вытертым диваном. Было жаль тетку. Юлька крепилась, чтобы не затосковать.

Понемногу она стала привыкать к Николову, огляделась. Она чувствовала, что это трудовой, суровый город рабочих, живущий бодро и деятельно. Здесь все говорили на «о», как Федор. Юльке здесь вообще нравилось. Ей, например, нравилось, как добросовестно и энергично работали кондукторши в трамваях — поливали из леек пол, чтобы прибить пыль, хозяйски ходили по вагону, продавая билеты. Официантки в кафе не брали на чай.

Юлька подумывала о работе — ведь деньги, которые она выручила от продажи зимнего пальто, собираясь в дорогу, подошли к концу.

В сущности она все время чего-то ждала, хотя все было ясно и ждать нечего.

Она читала объявления в местной газете: Металлстромсоюзу требуются инженеры и техники, знакомые с кирпичным производством; отделочной фабрике — чертежник-конструктор и котельщик; требуются для охраны мужчины в возрасте до 35 лет; областной радиоклуб ДОСААФ объявляет прием на курсы радиотелеграфистов.

Наконец она нашла — автобазе управления местных торгов нужен нормировщик.

Она разыскала контору автобазы на тихой улочке. Входная дверь была обита войлоком. В коридоре толпились и галдели шоферы, получая зарплату. За тонкой перегородкой в папиросном дыму сидел без пиджака управляющий, тучный человек с короткой шеей, и урчал в трубку:

— И ты, Евстюшин, обманывать выучился?

Он спросил ее, прикрыв ладонью трубку:

— Вы ко мне? По какому вопросу? Очень хорошо. А нормирование знаете? А нашу специфику? А холода не боитесь?

И, не слушая ее ответов, велел прийти завтра к трем часам.

Юлька пришла в назначенное время. Заявив, что сейчас обеденный перерыв, управляющий запер ящики стола, влез в кожаное пальто и повел ее обедать, быстро катаясь по улице, забегая вперед, засыпал вопросами и не давал ей говорить.

Юлька поколебалась у дверей ресторана. Зачем она идет с этим дяденькой? И все же вошла. Он предложил ей закурить — ей всегда почему-то предлагали папиросы. Она отказалась. Подали водки в графине. Выпили. Перейдя на «ты», управляющий бурно жаловался ей, что не понят в своей семье и что любит задушевные беседы, «без задней мысли», как он выразился, и положил на ее руку свою с короткими пальцами.

Юлька вздрогнула и поспешно приняла руку. Она сказала, что ее ждут и ей пора уходить. Прощаясь на улице, управляющий сказал по-деловому и дружески, тоном человека, легко переносящего поражения и никогда не теряющего надежды:

— Ну так, значит, с понедельника приступай к работе.

Юлька промолчала, зная, что не придет больше.

Ее действительно ждали. Перед тем как она уходила, позвонил Федор. Она сказала, что идет по делу в город, и они условились встретиться на углу Пушкинской.

Юлька немного запаздывала. Она издали увидела Федора — он читал газету у стенда, — подошла незамеченной и потянула его за рукав плаща. Федор обрадованно сжал ее руку. Он был небрит и казался озабоченным. Они пошли вниз по улице. Ветер мел под ноги сухие листья, и они поскрипывали, перекатываясь по асфальту. Юлька сбоку поглядывала на Федора, мягко и растерянно.

У афиши Федор остановился и прочитал вслух: «Студенческий вечер в помещении драмтеатра. В фойе играет оркестр».

Юлька засмеялась и тоже прочитала: «Скоро! Открытие сезона николовского госцирка. Следите за рекламой!»

Они пошли дальше. Кое-где в окнах дозревали помидоры.

— Улица Станко, — задрал голову и не останавливаясь, прочитала Юлька на серой стене почты. Она знала, что там, на почте, лежат письма из Москвы на ее имя, но не шла получать.

— А Станко знаешь кто? — спросил Федор. — Он был командиром боевой дружины в девятьсот пятом году.

— Кажется, на этой улице твоя школа?

Он улыбнулся: Юлька и об этом помнит. Знакомые складочки запрыгали у его рта.

— Господи, Федя! — пылко сказала Юлька.

Он посмотрел на нее и смутился.

«Почему она не возвращается в Москву?» — беспокойно думал Федор. Они молча шли дальше, медленно, без цели. Из дверей под вывеской «Медицинское училище» высыпали девушки в разноцветных фетровых шляпах и, обгоняя их, быстро прошли, размахивая чемоданчиками.

Федор и Юлька миновали желтое здание театра и оказались в сквере. Сторожиха в больших рукавицах метлой сгребала в кучу

опавшие листья. А в низинке еще зеленела трава, и проходившая мимо женщина вытирала о траву боты.

— Вот осенью почему-то тоскливо,— сказала Юлька.

— В работе не замечаешь, какое время года,— сказал Федор.— Наше дело — работать.

— Да, конечно,— Юлька плотнее запахнулась в серое пальто.

— Когда работаешь, вкалываешь во всю мочь и что-то дельное получается — человеком себя чувствуешь.— Он остановился и добавил вдруг с суровой убежденностью: — По-моему, это самое главное.

— Да,— сказала Юлька.

Они пошли дальше, Федор видел справа у своего плеча непокрытую голову Юльки, ветер расшвыривал выбившиеся длинные тонкие прядки волос. Все что-нибудь делают, только она одна как туристка какая-то.

— Это верно,— сказала она, помолчав.— Если у тебя есть любимое дело или если живешь с человеком, которого уважаешь, не чувствуешь себя в жизни неустойчиво.

Поравнялись с заколоченным павильоном «Мороженое»; синяя краска его облиняла. На аллейке кружился мальчишка, пытаясь раскрутить, поднять в воздух бумажный самолетик на веревочке. На речке Уводь, протекавшей за сквером, вбивали сваи. Доносилось дружное: «А-ах!»

Федор и Юлька остановились у железной ограды. Солнце село, дул свежий, холодный ветер. Гулкий ритмичный возглас с реки хорошо, бодро настраивал Федора.

— Вот бьемся над интересной штукой.— Он показал руками.— Такое вот небольшое приспособление для веретен, а оно оборванную нить задержит. Эффект от него знаешь какой будет... Производительность выше и отходов меньше.— Он улыбнулся и добавил чистосердечно: — Это для меня самое интересное; пусть трудно, пусть не сразу ладится...

Юлька, побледневшая на ветру, слушала его, поднимая голову.

— Это — основное, по-моему,— сказал Федор.— Остальное приложится.

Федор, в сдвинутой на затылок кепке, стоял рядом и казался таким прочным, таким надежным. Так хотелось притулиться к нему.

В армии он не понимал, чего ей стоило пробираться к нему в дивизион, и сейчас не знал, чего стоило приехать в Николово. И к лучшему. Жертвенность тяготила бы его. Юлька это понимала инстинктивно. Может быть, кто-нибудь другой был бы внимательнее. Но она-то знает, какой ненужной, какой липкой бывает иная внимательность. Иной, может быть, ждет от тебя самоотверженности —

слабая душа. А Федор признавал самоотверженность в деле, а с людьми отношения строил проще. Зато Юлька знала его справедливым и честным.

Она пододвинулась к нему, кутаясь в серое пальто. Федор посмотрел на нее. «Красивая»,— вдруг увидел он. Они встретились взглядом, и небритое лицо его залило краской.

Они вышли из сквера и пересекли мостовую в направлении гостиницы. Их обогнала машина. В кузове ее, развалиясь на рулонах ткани, девушка в ватнике грызла яблоко. Федор подумал, что Дуся, наверное, еще спит после ночной смены.

Прощаясь, они стояли с Юлькой у чугунного лоснящегося льва при входе в гостиницу. Федор спросил:

— Ты где была сегодня?

— Я? На работу устраиваться ходила.

Теребя пуговицу на его плаще, она рассказала об управляющем автобазой, о ресторане.

Федор слушал ее со щемлящим чувством: опять какой-то неприкаянной — не прилепившейся ни к чему былиночкой, которую треплет ветер, показалась ему Юлька.

Прошло несколько дней. И снова у Юльки в номере зазвонил телефон.

— Я хочу зайти к тебе.

— Да, конечно.— Что-то незнакомое почувствовала она в голосе Федора. Помолчали.— Федя, как хорошо, что ты позвонил. Знаешь, я проходила мимо вашего комбината, там на доске вывешено, что нужен нормировщик.

— Какой нормировщик?

— Нормировщик в отделе труда и зарплаты.

— Ну и что?

Она засмеялась.

— Так я ведь нормировщик. Я кончала курсы. Понимаешь? Федя, ты слышишь? Я хотела тебя попросить, узнай, может быть, возьмут меня.

Он ответил не сразу:

— Хорошо. Я поговорю с Назаровым.

— Это кто ж такой?

— Назаров-то? Начальник отдела.

— Ах, ну да.

Они помолчали.

— Я хотел зайти к тебе.

— Да, конечно.

И снова что-то незнакомое послышалось в его голосе.

На этот раз дежурная, предупрежденная Юлькой по телефону,

пропустила его. Федор, не постучав, открыл дверь в номер. Юлька стояла у окна в лиловом, поблекшем в сумерках свитере. Вдруг он увидел ее потемневшие глаза. В смятении он прошел к окну, обнял Юльку.

— Господи, Федя! Федя! — повторила она.

Кто-то пробежал по коридору, громко стуча. И снова стало тихо.

Потом он лежал с закрытыми глазами рядом с Юлькой, подавленный, растерянный. Что-то тягостное, смутное поднималось у него в душе. Опомившись, он уткнулся щекой в Юлькины спутанные волосы.

**6** Когда Прасковья Матвеевна надевала халат у своего шкафика, Гаврилова, помощник мастера, которую она сменяла, сказала:

— Цепей на себя ищешь.

— Поздно уж. Заковали.

— И чего человеку недостает?..

— Ты лучше расскажи, как станки работали, — перебила Прасковья Матвеевна. Она закатала рукава и вошла в цех.

Она шла, опустив руки в карманы халата, слушая гул веретен, легко неся свое нелегкое тело, — в мягкой, плавной походке видна многолетняя привычка двигаться вдоль станков.

Прасковья Матвеевна деловито охватывала все, что делалось в цехе. Заступала ее смена. Она учила своих работниц:

— Приемка — залог работы на всю вашу смену. Надо принимать станки не панибратски — по-деловому. Станки в пуху, в косичках не принимайте. Пусть сменщица обметает, пусть сдает как следует. Строго спрашивайте, как с вас самих вторая смена спрашивает.

— А мы маленько послабже, попростее второй смены, — улыбалась Фаина Козлова.

— Ой ли?

О Козловой беспокоиться нечего. Но есть в бригаде другие — например, человек семнадцати лет по имени Нина, с месяц всего из ФЗО. На бригадном собрании Прасковья Матвеевна старалась задеть, расшевелить ее:

— Ну-ка, пусть «ФЗО» выступит. Пусть выскажется, будет ли она маршрут соблюдать, как ее учили?

И сейчас Прасковья Матвеевна первым делом к ней.

— Так, — говорит она. — Хорошо. Значит, зад к машине приклеила и ждет...

Нинка, задрвав свой облупленный нос, изо всех сил прислушивается к тому, что говорит Прасковья Матвеевна, и ничего не слы-

шит в гуле веретен. Прасковья Матвеевна проводит ладонью по станине и показывает ладонь Нинке.

— Еще раз примешь в пуху, остановлю машину — мети, — говорит она в подставленное красное ухо. — И прометешь все свои обязательства.

Она отходит и застывает, любуясь Козловой. Ах, как Козлова движется, как ловко управляется у веретен!..

Поравнявшись с ней, Прасковья Матвеевна кивает на Нинку.

— Последи, Фая, за ней. Прошу тебя. Шпигуй ее, как родную дочку.

— Что это еще за слеза такая? — Обойдя станки, снова она возле Нинки. — Я тебя пробрала на работе по существу. — И, вынув из кармана платок, вытирает ей глаза. — Брось, брось! Ты ведь не дома у мамки — с зарплаты живешь.

Подошел мастер Коркешин.

Самое приметное во внешности мастера — уши. Неестественно большие, оттопыренные, они поддерживают распадающиеся волосы. Коркешин всегда, в любую жару, в туго завязанном галстуке, в темной рубашке; из ее нагрудного кармана торчит авторучка. Рубашек с короткими рукавами, как другие, он не носит, а если закатывает рукава, то только слегка, пониже локтя. И тогда все же татуировка — наивное сердечко — выглядывает на запястье.

В глазах у него огонек любопытства.

— Поздравить тебя, Матвеевна, надо?

— Да, вот так уж...

И вдруг завернула на нем рукав рубашки. Он изумился:

— Ты чего?

— С каких пор все поглядеть собираюсь. «Люблю Маню». Так я и думала, что это самое у тебя тут написано. А сердечко-то некрасивое — расползлось. Видно, давно накалывал.

Потом, присев на корточки возле машины, проверяя веретена, она спросила у Нинки:

— Уж известно?

Нинка виновато кивнула головой.

— Ну и хорошо. Цветов, что ли, своему бригадиру принесли бы.

Прасковья Матвеевна и не рада была, что сама подсказала про цветы. Нинка, пошептавшись с работницами, сбегала в обеденный перерыв на трамвайный круг за цветами. Букет поставили в ведро и спрятали в кабинете мастера. А кончив смену, поднесли Прасковье Матвеевне с напутствием:

— Бывайте здоровы! Живите богато!

Пока шла с фабрики к проходной, все спрашивали:

— По какому случаю, Матвеевна, такой букет?

— Двойню сноха родила. Праздную!

Новоиспеченная семейная жизнь Прасковьи Матвеевны потекла помаленьку, не плохо и не хорошо, но спокойно и складно, как будто лет десять прожили они вместе с Николаем Арсеньевичем.

Теперь, когда она спала днем после ночной смены, она сквозь сон слышала, как в окно, едва затененное облетевшим кустом, доносится: стук-стук — это во дворе Николай Арсеньевич «козла» забивает.

Вечером Николай Арсеньевич заносит с улицы самовар. Они сидят за покрытым клеенкой столом, мерно раскачивается маятник стальных часов. Вдвоем действительно веселее, чем одной.

У Николая Арсеньевича на голове седой венчик, нежный, как пух, благообразный, точно он нажил себе лысину в бухгалтерской конторе, а не в цехе. Брови энергично чернеют на смуглом лице. Он еще крепок, статен. Соседка Нина Ивановна говорит, что они неплохая пара.

Прасковья Матвеевна пьет вприкуску блюдце за блюдцем.

— Слышь, Арсеньич, Нинка-ФЗО всю неделю план выполняет.

— Ну?! — покачивает головой Николай Арсеньевич.

— А все Козлова... Козлова — умница. Дома у нее все сделано: сама всегда опрятная, посмотреть удовольствие. На таких вот женщинах белый свет стоит.

— Ну-ну-ну, — соглашается Николай Арсеньевич и поправляет носком ботинка загнутый половик.

— А вчера у нее на сто пятнадцатой рвет и рвет... Что такое, хоть плачь, не пойму...

Николай Арсеньевич, глядя в окно, вздохнул, позевывая.

— Опять дождь. На осень переломило. Да, годочки идут, как вода льется.

Отошел человек от производства — и как отрезан. Неинтересно ему. Неужели и с ней так будет — ведь через три года тоже на пенсию.

— Что это я, всего два стакана выпил — больше не хочу? — спросил Николай Арсеньевич и сам себе ответил: — Несолоно поел.

Прасковье Матвеевне вспомнилось, каким нелепым показалось ей еще недавно его предложение. Она почти всю жизнь без мужа прожила, а он только овдовел и уже заскучал, одиночества испугался. Все ли мужчины такие слабые или он один такой?

На днях Нина Ивановна сказала:

— Я на рынке Варьку из второго цеха встретила. Она про твоего Арсеньевича, знаешь, как говорит: не пара он ей, то есть тебе. Она боевая, а он посерее ее.

— То пара, а то не пара. Ох ты, сваха моя!

Сколько лет бок о бок с соседкой прожили. В войну последними дровишками делились, а теперь их разносит в разные стороны: не

по душе одинокой Нине Ивановне, что у них теперь доли разные.

Поставив блюдце на стол, Прасковья Матвеевна сказала:

— И почему это такое в жизни: одно дается, другое отнимается? Не должно так быть.

Николай Арсеньевич отозвался:

— Попроси — дастся, постучи — отворится. Потеплее к богу надо б...

— Будет тебе толочь.

Прасковье Матвеевне хочется припомнить, каким был Николай Арсеньевич лет двадцать назад. И никак не удается. Вспоминается один давнишний случай. Идут они на работу. У проходной встречается Арсеньич: ему тоже заступать.

«Бабы, — говорит, — вяжите меня, я пьяный».

Зашибал он тогда. Ну, что было, то было, а теперь этого нет за ним...

Когда сын и сноха ушли от нее, она ни к чему дома не притрагивалась, забросила все. Полы и то не каждую неделю мыла. Не приучена жить сама себе на радость... И ведь ни споров, ни громких разговоров между ними не было. Да, видно, тесно показалось молодой снохе жить со свекровью. Лучше у людей по чужим углам скитаться, лишь бы самой верховодить. И сын пошел за женой, оставил мать. Говорят, так оно обычно и бывает. Но уж очень обидный этот обычай. И может быть, от этой обиды, от одиночества да еще из самолюбия и решила она на замужество.

Теперь Прасковья Матвеевна, хоть и не с таким рвением, как прежде, все же снова принялась за домашние дела. Николай Арсеньевич и сам старался быть в доме полезным человеком. Вот достал со шкафа потускневший самовар, прочистил, оттер мелом до блеска. Прасковья Матвеевна видела, что ему уютно, он доволен жизнью. Невольно и ей передавалось его настроение.

А Николай Арсеньевич не признался бы, что с тех пор, как он ушел на пенсию, он стал бояться надвигающейся смерти и лепился к тому, кто сильнее его и дальше от смерти, и жить вместе с энергичной, веселой женщиной — сушая отрада для него.

Однажды, когда Прасковья Матвеевна и Николай Арсеньевич вот так же сидели под вечер у самовара, неожиданно вошел Федор.

— Гляди, Арсеньич, не забывают нас, — воинственно сказала Прасковья Матвеевна.

— Как же, — в тон ей поддержал Федор. — Ты в тени не засидишься, сама о себе напомнишь: «Нам этот механизм высокой вытяги ни к чему...»

Прасковья Матвеевна засмеялась, довольная, что сын слышал, как она выступала на собрании, ловко вправила гребенку в волосы и стала доставать из буфета угощение.

Разговор оборвался. Федор сел, молча поглядывая то на Николая Арсеньевича, то на мать.

Николай Арсеньевич подхватил со стола самовар и легко понес его разогревать.

— Знаешь, мать,— сказал Федор, когда они остались одни,— прибор-то у нас, кажется, получается.

Она опустилась на стул с батонem в руках.

— Это хорошо, Федя. Прядильщицам легче работать будет.— Вздохнула и присмирела, глядя на него.— Случилось что? Ты, Федя, что-то сам не свой сегодня...

— Вот еще! Придумываешь чего-то.

Сидели молча, задумавшись, пока мать первая не заговорила:

— Я, Федя, что-то в последнее время строже на людей смотреть стала. С чего бы? Может, годы идут — характер портится.— Она положила на стол батон и скрестила руки на груди.— Ты, Федя, маленький был, не запомнил, как радовались, какое это счастье тогда было при пуске комбината: фабрики наши, станки большей частью советские. А с тех-то пор, господи!..

Он пододвинулся к ней. Мать давно не разговаривала с ним так серьезно.

— Ты о чем?

— Вот, к примеру, о Леше Волкове...

— Тебя, мать, не поймешь.

— Я говорю, далеко ушли. Да вот не все хорошо.

Она смотрела прямо перед собой, и Федору были видны складки на ее шее и веснушчатая щека, иссеченная морщинами.

— Чуть ли не судить Волкова только и остается...

— Ну уж, судить,— сказал Федор.

— Такой у нас обычай, обязательно найти виноватого, погромче наказать, чтобы другим острастка была...

Федор перебил:

— А ты, мать, правда ворчишь чего-то.

— Так ведь не нужны нам, в самом-то деле, эти механизмы высокой вытяжки, раз мы работаем сейчас низкие номера. Но уж, видно, если сверху досталось, найдут виноватого...

Она поднялась и стала нарезать батон. Николай Арсеньевич деликатно задерживался на кухне, давая им побыть вдвоем.

— А чего ж не отстояли? — спросил Федор.

— Вот то-то и оно. Ты не слышал, как Карнаухов говорил, тебя уже не было. О большой политике...

— Я ушел.

— То-то, что ушел.

— А что?

— О-хо-хо,— громко вздохнула мать.— Я тебя совсем голодом

заморила. Ты, Федя, подвигайся к столу. Сейчас и горячего чайку из самовара напьешься. Ты ешь, ешь,— говорила она, пододвигая ему тарелку с колбасой.

Федор вспыхнул:

— Раз товарищ — значит, вали, защищай. Так, что ли? Это как называется? Было решение парткома? Было!

— А ты-то сам что думаешь, виноват Леша, что ли?

— Что думаю, записали на заседании парткома. Нечего об этом говорить. Не о Леше думать надо — о комбинате. Не вытянем с новой техникой — знамя заберут в третьем квартале. Хорошо будет?

Николай Арсеньевич внес самовар и, водрузив его на стол, зябко потер руки, взглянул на Прасковью Матвеевну и вдруг, что-то заметив, тихо, озабоченно спросил:

— Болит?

Прасковья Матвеевна отдернула руку — она держала ее под грудью, на том месте, где иногда чувствовала какую-то давящую тяжесть.

Пили, похваливая, чай из самовара, разговаривали о том о сем, а Федор больше отмалчивался, насупившись, и поглядывал на Николая Арсеньевича. Подметив его взгляд, Прасковья Матвеевна громко сказала, разглаживая перед собой скатерть:

— Одна головня и в поле гаснет, а две курятся.

**7** Федор хотел одного — работать и чтобы ему не мешали довести до конца прибор. Раньше ему обычно удавалось так глубоко погрузиться в работу, что он, точно броней, был защищен от всяких житейских неурядиц, например от неизвестно с чего возникших между матерью и Дусей обид.

Но приехала Юлька, и все в его жизни запуталось.

Как ясно, как чисто он жил еще совсем недавно. Вот Леша Волков знает о нем: ему ничего больше не нужно — только бы работать. Ведь если хочешь достичь чего-то, не разменивайся на житейские мелочи.

В будние дни по вечерам Федор обычно занимался. А по воскресеньям они с Дусей гуляли по городу. На улице Ленина по обеим сторонам стояли большие здания института. Федор говорил:

— Выбирай, Дуся, какой больше нравится. Вон, смотри, как украшается химико-технологический.— Сад института обносили этим летом красивой железной оградой.— Может, подойдет?

— Подойдет! — смеялась Дуся.

В саду научной библиотеки девушки сидели на скамьях с книжками в руках.

— Может, действительно надумаешь, Дуся, учиться пойти? — спрашивал Федор. — Поджались бы материально, зато бы училась. — Он по себе знал: учиться без отрыва от производства нелегко.

— Федя, милый, где ты был раньше? Поздно уж мне. Да и неохота уходить из цеха.

С тех пор как они стали жить отдельно, Дуся поправилась, заметно похорошела. Она любила гулять под руку с Федором, особенно по улице Ленина, где всегда было много молодежи.

Но в последнее время они не гуляли. Вечерами Федор дольше прежнего просиживал за столом. Ему с трудом удавалось сосредоточиться, все прислушивался, как непривычно громко шаркают о пол Дусины тапочки, как звякают в руках у нее ложки.

Никогда так не было, чтобы думать одно, а говорить Дусе другое.

— Ты куда собрался?

И словно не Федор, а кто-то другой за него твердо отвечает:

— К матери схожу. — И мимо посторонившейся в дверях Дуси с горячим чайником в руках он уходит, торопливо застегивая пальто.

У него не хватает духу идти нужным ему путем, и он идет сначала в направлении к дому матери. Но потом, свернув, больше ни о чем не думая, ничего не опасаясь, шагает, будто подгоняемый ветром.

Женщина в вестибюле гостиницы набрала Юлькин номер телефона. Федор ждал, не спуская глаз с лестницы.

Юлька сбегала вниз в своем светлом пальто, не глядя в лицо Федору, протянула ему руку. Федор, волнуясь, сжал ее.

Они вышли из гостиницы. Был теплый безветренный вечер. На проспектелюдно, оживленно.

Юлька шла, глядя себе под ноги, понурая. Некоторое время они молчали.

— Как тепло сегодня, — сказал немного погодя Федор, заражаясь от Юльки чувством неловкости и отчуждения. — Даже вон без пальто опять некоторые ходят.

Но ни к чему были эти слова, как, наверное, все, о чем бы он ни заговорил сейчас. Юлька не поддержала разговора.

Их обгоняли группки парней, молоденькие парочки. Федор понемногу успокаивался, идя рядом с Юлькой. Он даже задумался на минуту о вещах, не имеющих отношения к их встрече. «Молодец Леша Волков! Работает и даже виду не подает». И взял Юльку под руку.

Проспект кончился. Гуляющие парочки поворачивали обратно. А Федор и Юлька вышли на баррикадную улицу. После проспекта здесь было глухо, уединенно. Они прошли еще немного, и Юлька вдруг остановилась.

— Мне, Федя, поговорить с тобой нужно.

Неяркий свет фонаря падал на ее бледное лицо, показавшееся

Федору замкнутым, чужеватым. Он вспомнил, как она стояла у окна в своем номере, когда он вошел к ней, и еще вспомнил, как потом эти воспоминания не давали ему покоя все дни... Он порывисто нагнулся к ней, обхватил ладонями ее голову, притянул к себе.

— Ну, чего ты? — беспокойно спросил он.

Она вздохнула и отстранилась от него. Косынка сбилась у нее с головы и сползла на плечи.

— Так ты говори, чего хотела. Чего ж молчишь?

Она поежилась и спрятала руки в карманы пальто.

— Лучше, Федя, нам не видеться больше.

— Еще чего, — сказал он задетый.

— Не так у нас все... Не так, как было...

Он не сразу понял ее.

— Знаешь, — сказал он, — в мирной жизни, как ни говори, все иначе, нет той ясности...

Она покачала головой, не соглашаясь.

— Ох, Федя... — Голос у нее дрогнул, она замолчала.

И вдруг Федор увидел, что Юлька плачет, беспомощно склонив набок голову.

— Ну, чего ты? Чего? — растерявшись, бормотал он и гладил ее по волосам. — Ну, Юлька. Ну, чего ты?

Он обнял ее, и Юлька прижалась к нему.

— Ну, чего ты? Ведь ничего не случилось. Ну, что плакать? — повторял Федор, ошеломленный серьезностью происходящего. — Ну, не надо.

Он гладил ее по волосам. Юлька тихо плакала.

Прошло несколько дней. У Федора было такое чувство, точно он жил в каком-то угаре, и вот теперь угар рассеивается и все становится по местам.

Им с Юлькой действительно не следует больше видеться. Обманывать Дусю, чувствовать ее больной, встревоженный взгляд на себе, тайком встречаться с Юлькой... Нет, это ему не под силу.

Он не мог забыть, как Юлька плакала на улице, точно он обидел ее, обманул какие-то ее надежды. Но на что же она надеялась? Зачем приехала в Николово?

Он вообще не мог понять, как это так: надумала повстречаться — взяла и приехала. Этот Юлькин поступок то казался Федору необычайно смелым, а то просто безрассудным: нет у нее дела, ни к чему она не прибилась — вот и носит ее по свету.

Щемящее чувство к Юльке мешало ему жить и работать. И он неодобрительно думал о Юльке: пустоцвет. Ничего-то она не успела в жизни, и сама в этом виновата.

Сам он хотел сейчас одного — чтобы ничто больше не мешало ему довести до конца прибор. Федору казалось, что, если Юлька начнет наконец работать, все войдет в колею: и у нее жизнь наладится, и ему будет спокойнее.

Выбрав свободную минуту, он зашел к начальнику отдела труда и зарплаты Назарову.

— Садись, Барулин, — сдерживая свой зычный голос, сказал Назаров, считая, что Федор пришел по какому-нибудь парткомовскому делу.

— Я вот с чем, — сказал, садясь, Федор. — Хочу порекомендовать тебе в отдел нормировщицу.

Побитое оспой лицо Назарова сморщилось в улыбку.

— С дорогой душой. Да только ведь у меня нет вакансий.

Федор удивился:

— Ведь на доску вывешивали...

— Думал, Карнаухов оставит мне единицу. Секретарь-то его Варвара Алексеевна на мне числилась. А он увидел на доске мое объявление и велел снять.

За дверью Федор постоял в нерешительности, испытывая смутное раздражение. Потом подумал: на что же она живет, у нее денег-то, наверное, нет.

— Что у тебя? — спросил Карнаухов у Федора, когда тот вошел.

Недавно они впервые не поладили, и сейчас Федор чувствовал, что дорожит связью с Карнауховым. Тяготясь холодком, вставшим между ними, он изложил свою просьбу.

— Фронтвичка, комсомолка. Лично я могу за нее поручиться, — волнуясь, говорил он.

Карнаухов поднял глаза. Федор смутился и повторил упрямо:

— Поговори с ней... Лично я поручусь.

— Пусть зайдет.

Возвращаясь к себе в конструкторскую группу, Федор зашел в ткацкий цех.

Тяжело стучали станки. Вот покончит с прибором, и надо будет заняться глушителями шума. Он с удовольствием подумал, что на его век работы хватит.

Он отыскал глазами Дусю. Она быстро и озабоченно шла вдоль своих станков. Остановилась, проворно привязала нитку, пустила станок и пошла дальше, расправив плечи, легкая, серьезная, с нахмуренным лбом.

Федору вдруг представилось, как во время войны пятнадцатилетней девчонкой Дуся хлопотала тут у станков. Наверное, тогда руки у нее от неумения вечно были сбиты, в ссадинах. Он подумал, что Дуся никогда не рассказывала ему о том, как жила во время войны, и удивился этому.

Ему порой не хватало рядом с Дусей чувства локтя. Дуся жила иначе, чем он, не так интенсивно. Но это все же Дуся — свое, родное. Федор не мог смотреть на нее со стороны.

Дуся заметила его, улыбнулась издали и скрылась за станками.

Федор вдруг вспомнил: когда он влюбился в Дусю, ничего не мог делать, работа из рук валялась, упрашивал, чтобы замуж за него шла.

После работы, когда в конструкторской группе все разошлись, Федор позвонил Юльке.

— Слушаю, — тотчас ответил Юлькин голос.

Они поздоровались.

— Так я узнал тут насчет работы для тебя.

— Какой работы?

— Ты ведь собиралась нормировщицей устроиться...

— Да, да. Так как же? — возбужденно переспросила Юлька. — Я плохо тебя слышу. Говори, Федя, громче.

— Я насчет работы для тебя, — громко сказал Федор. — Тебе надо будет подойти к парторгу поговорить. Двенадцатая комната...

Он подождал.

— Ты слышишь? Чего ж ты молчишь?

— Хорошо, я схожу.

— Ведь ты комсомолка?

— Да, пока еще. Но вообще-то мне пора выбывать по возрасту.

— Так ты сходи, не откладывай, — сказал Федор уже не так настойчиво. В сущности, мало надежды, что Карнаухов возьмет по его просьбе Юльку, скорее всего он подыщет себе секретаря сам.

**8** Юлька отыскала в здании управления комбината 12-ю комнату, прочла на табличке: «Партком». В приемной было пусто, на столе, покрытая черным чехлом, стояла большая пишущая машинка. Юлька постучала в следующую дверь. Сильный голос ответил издали:

— Входите.

Она толкнула тяжелую дверь. Парторг сидел в глубине большого кабинета у окна, спиной к свету, склонившись над бумагами.

Она тихо прошла по ковровой дорожке. Теперь ее отделял от него длинный стол заседаний под зеленым сукном.

— Я относительно работы, — сказала Юлька. — Мне передал Барулин...

— Какой работы? — Он поднял глаза, и Юлька подумала, что она где-то его уже встречала, а может быть, не его, но очень похожего.

— Я относительно работы,— повторила она свободнее.— Я кончала курсы нормировщиков и работала в Москве... Он смотрел на нее, Юльке показалось — изучающе.

— Вы из Москвы? Да вы сядьте...

— Спасибо,— сказала Юлька.

Она отошла к стене. Вдоль всей стены тесно стояли стулья с высокими спинками. Она села на один из них и сложила на коленях снятую с головы косынку.

— Да. Из Москвы.

— Перебрались в Николово?..— Он взял с пепельницы потухшую папиросу и прижал мизинцем спичечный коробок к столу, а другими пальцами чиркал спичкой. Спичка не зажигалась. Юлька вдруг увидела его безжизненно повисшую левую руку, потянулась помочь.

— Разрешите?

Он молча снова чиркнул, прикурил. Юлька, покраснев, села на место.

— Вы печатаете на машинке?

— Плохо,— сказала Юлька.

Лицо у парторга было крепкое, неровное, точно сложено из комьев.

— Дело в том... Отдел труда укомплектован...

— Ну что ж,— сказала Юлька подтянуто.— Нет так нет.

— Речь идет о работе в парткоме. Техническим секретарем. Как думаете, справитесь?

Она невольно огляделась: синие шторы на окнах, люстра, столик с телефонами. Подумала секунду.

— Думаю, что справлюсь.

— Вот так,— сказал он.— Тогда завтра и приступайте.

Она уже была у двери, когда он вдруг громко спросил:

— Вас что, Барулин по армии знает?

Юлька обернулась.

— Да,— подтвердила она, почувствовав себя свободнее с этим одноруким человеком, знающим о том, что и она тоже была на фронте.— В одной дивизии служили.

Она вернулась в гостиницу. Дежурная по этажу предупредила, что ее просит зайти администратор.

— Если клиент живет свыше месяца, он платит за номер по двойному тарифу,— сказала седая женщина и деликатно уточнила: — Вы у нас проживаете месяц и три дня.

— Да,— сказала Юлька.— Хорошо, я съеду.

— Да, конечно, кому интересно столько платить. А жить вам есть где?

— Поищу.

— Жаль, что уезжаете. Нас к новой ТЭЦ присоединяют. Тепло будет в номерах, замечательно хорошо. А то ведь клиенты требовали по второму одеялу.— Она плотнее закуталась в серый платок и тихо сказала: — Может быть, пару дней где-нибудь поживете и опять к нам вернетесь — у вас заново срок пойдет.

— Спасибо.

— До десяти атмосфер нам дадут. Теперь у директора новая забота — чтобы трубы не полопались.

У себя в номере Юлька присела на кровать и слушала, как в коридоре горничные громко разговаривают о квашении капусты. Уже было убрано, и паркет в номере блестел. Пока Юлька складывала в чемодан вещи, скрипач за стеной начал свои ежедневные упражнения.

У двери Юлька задержалась, оглядела на прощание комнату. Она сдала все свои вещи в камеру хранения гостиницы, кроме пары туфель, которые завернула в газету и отнесла в скупку.

Получив деньги, Юлька села в трамвай. Еще утром она заметила поселок вблизи комбината; там, казалось ей, проще договориться насчет квартиры, чем в центре. И помнилось, Федор говорил, что в этом поселке, на 6-й просеке у его знакомых, может быть, найдется для нее угол.

Трамвай, раскачиваясь, катил под гору. Дождь прошел, и было еще довольно светло, но ненадежно — теперь разом, по-осеннему, тускнело.

Зачем она остается в Николове? Юльке трудно было ответить на этот вопрос, она вообще не умела планировать свою жизнь. Будь она более рассудительной, она, быть может, не кинулась бы так опрометчиво в Николово или вернулась бы обратно в Москву. Или уехала бы в маленький город Старицу, где есть домик, в котором она выросла. Но она давно ушла оттуда, с тех пор утекло много воды, и, приезжая навестить мать, она слоняется по дому, чужая всему. Мать потучнела, с годами ей труднее выстаивать на отекающих ногах у плиты столовой горсовета. Она ни о чем не спрашивает, но Юлька чувствует молчаливый укор — она обманула надежды матери, на другую жизнь рассчитывала мать для своей дочери. На стене, рядом с портретом покойной тетки, — после ее гибели круглое лицо тетки кажется героическим, мечтательным и строгим — висит фотография Юльки, и мать поглядывает на девочку с огромным бантом в волосах. Это — рубеж; все, что было с девочкой дальше, смутно, непонятно и горько для нее.

На трамвайной остановке «Стандартный поселок» Юлька сошла. Прочла на табличке: «6-я просека». Постояла в нерешительности. Не видятся они с Федором, но вот каждый шаг ее здесь, в Николове связан с ним.

По обеим сторонам за забором стояли одинаковые небольшие домики. Юлька не отважилась открыть калитку. Но навстречу из дома вышла худая женщина с ведрами, в галошах на босу ногу.

— Вы не знаете,— спросила ее Юлька,— тут никто не сдает комнаты? Я из Москвы. Оформляюсь на комбинат.

Женщина с интересом оглядела ее.

— Нет, не слышала.— Она подумала.— А вам что, для себя одной? А то я бы впустила. Если только устроит. Да вот комната маленькая.— Женщина повесила на руку пустые ведра и повернула назад.

— Нет, отчего же. А на что ж мне большая? — говорила Юлька, поднимаясь за ней следом на крыльцо.

С этого дня Юлька поселилась на 6-й просеке, в семье у Волковых.

**9** В детстве у Федора был такой случай. Он с матерью жил тогда в доме, принадлежавшем раньше купцу Гандурину. «Гандуринские», как называли их на улице, дрались с ребятами Проходного двора. Когда и с чего началась эта междоусобица, сверстники Федора не знали и не доискивались.

В очередной потасовке Федору и двум его товарищам удалось схватить вырвавшегося вперед одного из предводителей неприятеля — Лешку Волка. Он упирался, и каждую минуту могла подоспеть подмога, а они тащили его через улицу и не знали, что делать с ним. Бить одного втроем не позволяла совесть, сразиться один на один — никто из них не сладил бы с ним. Волк был старше и крепче. В пылу мести они втащили его на трамвайную линию, держа за руки. Бросать его под трамвай они не собирались, но хотя бы попугать своего врага... Лешка Волков, в отцовском ватном пиджаке, стоял на трамвайной линии, не пытаясь вырваться, презирая опасность.

Переходившая в это время улицу женщина из «гандуринских» завопила и, поставив бидон с молоком на мостовую, надавала им подзатыльников, пообещав пожаловаться матерям, и все четверо разбежались. Товарищам надрали дома уши. А Федору мать сказала сокрушенно:

— Твой отец родился в царском застенке... А ты вон каким негодником растешь...

Он знал — отец родился в тюрьме, потому что бабушка Наталья была революционеркой и царские жандармы схватили ее. Но бабушка была ему известна с очень обыденных сторон. Когда он приходил к ней, она кормила его повидлом и пришивала пуго-

вицы к его пальто. Героем для него был отец, которого он не помнил.

После разговора с матерью, встретив в переулке Волка, Федор остановился в замешательстве. Готовый к подвоху, Волк сшиб его ударом кулака.

Федор поднялся, сплюнул кровь из рассеченной губы. Они злобно смотрели друг на друга.

— Сквитался? — спросил вдруг Федор.

— А то что же! — неуверенно сказал Волк.

Они потоптались на месте. Говорить им было трудно, да и не о чем. Но из переулка они уходили вместе, и это означало, что кончилась пора мальчишеских драк, наступало отрочество.

С тех пор прошло много лет. Теперь они оба были женатыми людьми. Леша Волков, так тот сразу же после войны оброс семьей. Он жил в поселке на 6-й просеке, неподалеку от колодца, в стандартном домике.

Федор решил навестить товарища. В сенях он задел головой о сохнувшие на протянутой веревке детские чулки, постучал.

Жена Леша вскочила с табурета, всплеснула руками.

— Ой, Федя, вот не ждала! Давно ж ты к нам не навещался.

— Здравствуй, Маруся.

Пока Федор снимал пальто, Маруся приглаживала ладонями прямые волосы, свернутые в кулачок на затылке.

— Сейчас и Леша подойдет. Задержался что-то. Ты присядь, Федя.

В незавешенном дверном проеме был виден большой стол в комнате и за ним маленький Генька, расставляющий на клеенке шахматные фигуры.

— Кто пришел, Геня, смотри, кто пришел?

Он скатился со стула и прибежал на кухню.

— Вырос-то как! — сказал Федор и посадил Геньку к себе на колени. Генька потрогал пуговицы на его рубашке. Из-под печки вышел маленький поросенок, купленный в прошлое воскресенье, его держали дома, пока немного окрепнет. Генька соскользнул с колен Федора, шлепнулся на пол и принялся играть с поросенком, как со щенком.

— И как только задницу себе не отхлопает, — сказала Маруся.

Федор кивнул на дверь — там в маленькой комнате они прожили месяц с Дусей, уйдя от матери, пока не подыскали себе квартиру.

— А Дима там? — спросил он о старшем сыне Волковых.

— Не-ет. Жиличка у меня там, тоже с нашего комбината. Впустила. Скучно одной в дому с ребятишками, когда Леша в ночь работает, особенно зимой.

Она пошла в большую комнату по настеленным на свежескрашенном полу цветным дорожкам. В лад ее шагам позвякивали стеклянные висюльки новой люстры. Федор пошел за ней. За столиком, упершимся в бок комода, Дима сосредоточенно писал по косым линейкам.

— Дима, дядя Федя пришел.

Дима поднялся со стула и, не здороваясь, угрюмо полез в ра-нец. Разложив тетрадку, он аккуратно перелистал ее и остановился на странице с отметкой «5—».

— Смотрите! — И прикрыл минус пальцем.

На большой кровати, казалось, прибавилось подушек, белоснежная постель стала еще выше, пышнее, и было странно, что Маруся, не щадящая себя, тощая от забот и добросовестности, ложится в такую пышную постель.

Раздались шаги в сенях. Маруся заспешила к двери.

— А мы тут, Алексей Иванович, все гляделки проглядели...— заговорила она.

— Федя! Ну, молодец, что пришел! — Леша оживленно потряс его руку.— Давненько не был у нас.

— Вот и я ему то же говорю,— весело сказала Маруся.

Леша снял пальто и куртку, остался в ковбойке с распахнутым воротом.

— Ну, Федя, чего слыхать, как живешь? — оживленно расспрашивал он, точно они в самом деле давно не виделись.

— Да ничего. Ты-то как?

— Я-то? Да на общих основаниях.

Маруся сливала ему над ведром. Он мылся, громко фыркая. Потер лицо вафельным полотенцем, притянул к себе табурет, сел верхом. Федор опустился рядом на другой табурет. Помолчали, с неловкой улыбкой поглядывая друг на друга. Федор положил руку на колено Леша: ладно, мол, брат, не тужи. Брови у Леша съехались.

— Что ты со мной, как с больным?

Федор принял руку, хмуро потер подбородок.

— Заболел бы ты правда, что ли, пока горячку порют. Там, может, и остынут.

— Какие все мудрецы стали,— огрызнулся Леша.— Стратеги.

Маруся громко вздохнула.

— Геня! Не лезь, не мешай Диме! Играй сам. Ну вот, поговорить спокойно не дадут. Не кособочься, Дима! Что сказала учительница — сиди прямо.

Она разлила в тарелки щи, поставила перед Федором и Лешей.

— Что ж, я не понимаю, что ли,— сказал Леша,— общее собрание готовится. Волков прогремит на весь комбинат.

Федор поднял от тарелки лицо, напряженно посмотрел на него.  
— Может, ты думаешь, я молчал тогда на парткоме?

— Ну что ты, Федя,— забеспокоилась Маруся,— даже никакого разговора об этом нет. При чем ты, когда вот он,— она ткнула в сторону Леша,— даже постоять за себя не хочет.

— Болтает попусту, сама не знает чего.— Леша бросил есть, поставил локти на стол, плечи его остро приподнялись.— К Карнаухову идти, что ли? Язык одревенеет раньше, чем выскажешь ему все.— Он побарабанил пальцами по столу и сказал, подражая голосу Карнаухова: «Объективщина!» — Маруся прыснула.— Нашли виновного! Как же! Не хуже меня знает: не мы сами — главк нам устанавливает номера пряжи. И отсебятиной заниматься — поди попробуй, сунься. Вот и стоят эти механизмы, не заправлены, раз мы низкие номера работаем. Никому до этой новой техники дела не было, пока в приказ министра не попали. А теперь Волков, выходит, виноват, так, что ли?

— Да что же это? — сказала Маруся.— Щи стынут.

Федор молчал.

Леша, балагур, веселый малый, не похож был сейчас на самого себя. Оживление с него спало, он осунулся, постарел.

— Глядят на тебя круглыми глазами, будто не знают, отчего механизмы стоят. Дурачками притворяются, и из тебя дурака делают. Плюнул бы на все и ушел.

— С комбината-то? — Федор даже улыбнулся.

— Это только так говорится — ушел бы,— сказала Маруся.— Куда ж он от своего цеха?

— Плюнул бы и ушел,— мрачно повторил Леша.— А ну их к черту! Щи, правда, стынут. Давай лучше есть.

Маруся подлила горячих щей в тарелки. Федор ел хмуро. Припомнилось, как Карнаухов втолковывал ему, что эта проработка и Волкову пойдет на пользу, подстегнет. Как бы не так! Несправедливость — вот что хуже всего гнетет человека. Прав Леша. А сам он, Федор, слабо отстаивал его на парткоме. Мешало ему, что они с Лешей приятели, чувствовал себя связанно.

— Одно только надо иметь в виду.— Федор отодвинул пустую тарелку.— Положение на комбинате тяжелое. Если знамя отберут, каково? Вот за это Карнаухов и болеет. Вот и бьют тревогу.— Он почувствовал глухое раздражение против Карнаухова за то, что должен выгораживать его, что-то внушать Леше.— Под горячую руку и перегнуть недолго. Но основа-то верная. Это упускать из виду нельзя...

У Маруси лицо стало серьезным, тихим.

— Да, да,— кивала она примиренно.— Разве ж мы не сознаем? И Федор привычно заговорил о престиже комбината.

Леша громко вздохнул.

— Я, брат, и сам все это понимаю. Обидно только.

— Обидно,— вздохнула Маруся,— кто с душой работает, а его ни с того ни с сего к ответу.— И, спохватившись, добавила: — Все наладится. Все будет по-справедливому.

И хотя никакого значения этим Марусиным словам не придали, успокоились, заговорили о другом.

Когда Федор стал прощаться, Маруся сказала:

— Ты приходи. С тобой, Федя, поспокойнее. Ты вот и объяснишь все.

Он ушел. Приоткрылась дверь маленькой комнаты, где жила квартирантка.

— Ушел?

— Ты чего, Юля? Ну да, ушел. А ты чего ж, выходить стесняешься, что ли? — Маруся засмеялась.— Да это Барулин был, Федя. С нашего комбината.

— Давай лучше садись, шей поешь,— сказал Леша.

— Не хочется.

— А то налью, пока не остыли,— сказала Маруся.

— Спасибо.— Юлька повязала голову голубой пуховой косынкой, концами вниз.— Я скоро вернусь.

## 10 Гроыхнула дверь в сенях, потом звякнула щеколда калитки.

Стоя за забором, кутаясь от ветра в накинутое на плечи пальто, Юлька тщетно вглядывалась — сырая темь поглотила все. Ушел. И не понял, что это она — Марусина «жиличка».

Кто-то, приближаясь, тяжело, неразборчиво шлепал по лужам. Юлька посторонилась, надела пальто в рукава и пошла по поселку.

Вдалеке на перекрестке улиц замелькал ярко освещенный трамвай, и Юльку потянуло туда, гделюдно, светло.

А когда поднялась в трамвай и втиснулась между чьими-то сырыми ватниками и пальто и трамвай, встряхиваясь, понес их всех мимо магазинов, фонарей, афиш, Юлке показалось, что еще можно чего-то ждать в жизни, на что-то надеяться.

В центре она сошла. В выемках почерневшего от дождя асфальта плавали залитые водой листья. Распластанные, мокрые, серые, они лежали повсюду на тротуарах. Торопившиеся прохожие с арбузами в плетеных кошелках шагали по ним.

Юлька пересекла площадь напротив горсовета и оказалась в сквере. Еще недавно здесь визжали у фонтана дети. Теперь же было пустынно и темно — фонарей не зажигали. Свалена груда кирпича, должно быть, собираются ремонтировать ограду. Лишь

редкий прохожий, чтобы сократить путь, быстро пересекал аллею. А сразу же за оградой — грохот трамвая. Машины, подпрыгивающие на булыжнике, вспахивали столбами света сквер. Наверное, нигде во всем городе не было сейчас такого пустынного места.

Юльке стало грустно, и она подумала о своей жизни. Столько лет жила по чужим углам, потом вдруг вышла замуж... Она вспомнила, как по утрам, когда они с мужем собирались на работу, он сам заботливо намазывал им обсым бутерброды и следил, чтобы Юлька тепло оделась. Как потом, когда они шли часть пути вместе, он говорил о своем управляющем трестом или о новой программе Райкина, кем-то пересказанной ему. Она знала наперед все его рассуждения, и они были ей скучны.

Да, они не понимали друг друга. Юлька не могла сочувствовать его стремлению к размеренной, обеспеченной жизни. Ей казалось, жизнь ее глохнет, замирает с каждым днем. Она чувствовала себя совсем одиноко, как будто жила одна. И память о Федоре, об их отношениях, о любви к нему время нисколько не стирало.

Юлька чувствовала потребность в любви, которой она могла бы отдать себя всю, любви, которая захватила бы ее, наполнила смыслом, счастьем, тревогой ее жизнь.

И вот уехала — порвала наконец и гордилась своим освобождением. Но оттого, что там кто-то думает о ней, Москва, которая за тридевять земель от этого сквера, показалась Юльке сейчас милой, родной сторонкой.

Она снова шла по тротуару. Заморосило, и люди еще торопливее шагали к домам. В окнах между рамами лежала пухлая вата. И казалось, там, за окнами, живут домовитые и ясные люди.

Прогудела машина за спиной у Юльки. Хлопнула дверка, и кто-то окликнул ее:

— Юлия Сергеевна!

Юлька обернулась. В черном пальто и такой же кепке, левая рука в кармане — Карнаухов. Она удивленно посмотрела на него, плохо соображая, откуда он вдруг взялся.

— Вам в какую сторону?

— Ни в какую, — сказала она, затягивая под подбородком концы косынки. — Немного еще погуляю и поеду домой.

— В дождь-то? А то давайте подкинем вас до дому.

— Не хочется домой. Спасибо.

Она усвоила: «соедините меня», «попросите такого-то», «отпечатайте»... И ничего другого. Идя с ней рядом, он одним только молчанием нарушал установившуюся форму, и неловкость этого чувствовали оба.

Машина медленно ехала за ними, выжидательно прижимаясь к

тротуару. Карнаухов махнул шоферу рукой — поезжай. Машина покатила быстрее и пропала из виду.

А дождь, как назло, усиливался.

Они прижались к стене дома под карниз, но и тут они были слабо защищены от дождя, хлеставшего по опустевшему тротуару.

— Да, но в конце-то концов мне правда холодно.

— Что ж теперь делать? Предлагали ж вам...

Карнаухов вышел на середину тротуара, оглядываясь.

— Куда же вы? Промокнете совсем! — крикнула Юлька.

— Туда, что ли, зайти можно, — неуверенно показал он. — Кафе...

— Ну что ж, пошли. Чего ради мокнуть?

Карнаухов догнал ее уже в дверях. Он шел за Юлькой, неуклюже натыкаясь на столики. Сели. Подошла девушка в накрахмаленной наколке на волосах, пристукнула записной книжкой о столик.

— Что для вас?

Юлька взглянула на Карнаухова, забывшего снять в гардеробе белое кашне, и сказала в тон девушке:

— Сосиски и кефир!

За столиком напротив молодому человеку подали четыре ломтя арбуза и сдобную булку. Юлька смотрела, как он срезал под корку мякоть арбуза, накалывал на нож и отправлял в рот.

— Что там? — спросил Карнаухов, поворачивая голову в ту сторону, куда она смотрела.

Юлька пудрилась, следя поверх зеркала за Карнауховым.

Он был похож на военного, вышедшего погулять в штатском костюме и сразу как-то утратившего и выправку, и представительность, и даже рост. И стало вдруг ясно, что у Карнаухова простое, крестьянское, ничем не примечательное, бугристое лицо.

Юлька откинулась на спинку стула. Ее забавляло, что она сидит рядом с Карнауховым, да еще в кафе. И то, как неловко он чувствует себя здесь.

— Вам хочется кутить? Чтобы музыка и никаких постных лиц. А? — Она задиристо засмеялась, бунтуя против почтительности, которую он ей внушал. — Да вы не пугайтесь. Здесь подают только кефир...

Появилась девушка, неся на тарелках дымящиеся сосиски.

Юлька разлила кефир в стаканы. Пошутили: кефир — не водка, много не выпьешь. У Карнаухова славно блестели крепкие зубы. Он сидел немного боком, разламывая вилкой сосиски. Юлька невольно вспомнила: когда кладет перед ним бумаги на подпись, он придавливает их тяжелым прессом, чтобы расписаться.

Карнаухов поднял от тарелки лицо.

— Спросить вас собирался. — Юлька встретилась с ним взглядом. — В Николово-то отчего перебрались?

Юлька помедлила, ответила замкнуто:

— Так просто. Случайно.

Что ему за дело до судьбы какой-то Юльки, не налаживающейся почему-то вот уже сколько лет после войны!

— Личные дела?

Промелькнувшая вдруг мысль, что, может быть, у Карнаухова тоже бывали «личные дела», показалась Юльке забавной.

— Да,— сказала она громко.— Повидаться ехала. С Федором Барулиным.— И от собственных бойких слов вдруг притихла.

Карнаухов покраснел, насупившись, размял пальцами папиросу.

— Не хотите сказать, не надо.

Юлька усмехнулась:

— Ведь вот правду скажешь, тоже не подходит.

Он с любопытством посмотрел на нее, все еще не зная, всерьез она или шутит.

— Вот так, значит,— сказал он.— Ну и что же? Приехали...

И опять какая-то неуверенность в нем, что-то странное, чужое, некарнауховское.

— Ничего! — Юлька пожала плечами.— Повстречались.

Карнаухов закурил, не скрывая интереса, смотрел на Юльку. Столбик пепла на его папиросе нарастал и отваливался на пол.

Карнаухов сейчас был совсем не тот, каким она привыкла видеть его, и эта перемена была удивительна Юльке и почему-то волновала ее. Она смущалась под его взглядом и все время поправляла пучок на затылке.

— На фронте вы кем были? — спросил он вдруг, чего-то доискиваясь, стараясь понять.

— В столовой работала.

— Всю войну?

Юлька улыбнулась, покачав головой, и залпом допила кефир.

— Нет, где же! Когда война началась, я восьмой класс только еще окончила. Шестнадцати не было.— Она разглаживала скатерть на столике и, чувствуя, с каким интересом слушает Карнаухов, охотно рассказывала.— Мы всей школой рыли противотанковый ров за городом. А немец вошел в Старицу с другой стороны.

— Значит, всего пришлось повидать.

Помолчали, задумавшись.

— Плохо то, что не все уходили в тыл... Не о вас, конечно, речь. С вас что спросить, почти ребенком были...

— Не знаю. Ведь как где было. А то ведь и так было, что и обстановки не знали, и уйти не на чем, и куда идти — не понять.

Она отвернулась к окну, вглядываясь в то, что делалось на улице. Карнаухов тоже посмотрел в окно.

— Идет еще?

— Кажется, затихает.— Она напряженно скрестила на груди руки.— Кто не пережил этого сам, тому не понять, что люди пережили.

— Понять можно. Понять и посочувствовать. Но были и отрицательные факты со стороны жителей...

— Да, конечно.

Он снова был похож на самого себя — суше, собраннее, определеннее.

— У меня вот тетка, уж на что тихая, осторожная была, а не убереглась.

— Погибла?

Юлька кивнула утвердительно. Задумчиво покачалась на стуле.

— У нас за городом пустырь был. Немцы его колючей проволокой обнесли. Там — пленные. В пилотках, в ботинках с обмотками. А зима, помните ведь, какая была. Вывесили объявление: за передачу военнопленным хлеба — смерть. Смотрим, тетя Варя собирается. Картошку в мундире, соль, хлеб — в узелок. Надела свое пальто, плюшевое. Уже сильно потертое было. И пошла к пустырю...

Ее перебила официантка:

— С вас девять восемьдесят,— и посмотрела на Юлькино разгоряченное лицо.

Карнаухов поспешно придавил папиросу о дно пепельницы и полез в карман за деньгами.

— Так и не вернулась больше,— сказала Юлька, когда девушка отошла.

— Да,— сказал Карнаухов,— много было скромных, безыменных героев.

— А уж когда нас освободили войска Западного фронта, тут я ушла в армию...

— А наша дивизия тоже на Западном была. Не исключено, что по соседству с вами были.

— Может быть, конечно.

Карнаухов спросил:

— Так вот, значит, и решились приехать? — И было видно, что он все время об этом думал и хочет что-то понять.

**11** Кончились осенние дожди. Холодный ветер промыл замерзшую землю — началась зима. Три дня падал легкий мелкий снежок, запорошил деревья. Потом подморозило, и деревья окутал иней, как в сказке. Ветер сдул снег с деревьев, и только в развилках веток он лежал белыми гнездами.

В садике научной библиотеки на скамьях пухлый снег толщиной чуть ли не в полметра. Возле скамей выглядывают зеленые горла урн — в них тоже снег.

Прошли студенты — хлопают на ветру шапки-ушанки, тетрадки высовываются из-за лацканов пальто. На углу остановились преподаватели в высоких меховых шапках с обширными портфелями в руках.

Когда отворяется дверь ресторана «Москва», теплый воздух, рвущийся наружу, завихряется в белые клубы пара. Кто-то, выходя, поскользнулся на обледенелых ступеньках, удержался на ногах и пошел, что-то напевая.

Обычная уличная жизнь. Но Карнаухову, привыкшему смотреть на улицу в ветровое стекло машины, все как будто внове. Он идет по городу в черном драповом пальто с поднятым воротником, в котиковой ушанке, левая рука наглухо втиснула в карман.

Подморозило. Повсюду дымят трубы. В переулке из трубы двухэтажного ветхого домика валит черный сильный дым. На стиснутой с обеих сторон сугробами мостовой то вынырнет, то опять спрячется за сугробы, кувыркается; катит зеленая «Победа».

Пятница — выходной на комбинате. День еще борется с сумерками. А кинотеатр «Арс» зажег свои рекламы, и ребячьи радостно валит в кино.

Над городом светло-сиреневое небо и яркий полумесяц. В свете фар встречной машины бешено кружится снежная крупа.

На вечерних освещенных улицах люднее, уличный говор настаивает Карнаухова.

Странное дело, никогда раньше его не тянуло на улицу, а сейчас вечерний город будоражит Карнаухова. Ему хочется затеряться в толпе и ходить, ходить, впитывая эту жизнь.

Но он продрог и пробивается сквозь клубы пара и встречную толпу в магазин обогреться. Люди озабоченно толпятся у прилавков. Мелькнуло светло-серое пальто. Нет, обознался, не Юлия Сергеевна. У нее такое же.

Рядом, у автомата, прижав ухом телефонную трубку к плечу и прикрыв рот воротником бобрикового пальто, парень угрюмо бубнит:

— Выйди, тебе говорят. — И, помолчав, снова свое: — Не темни, тебе говорят. Выйди.

**12** — Юля, здравствуй.

Так же тихо, скованно она отвечает:

— Здравствуй, Федя.

Он быстро проходит мимо. Он сам рекомендовал ее на это место, но и ему заметно, как не подходит Юлька к обстановке парткома.

Она сидит здесь, в приемной, за небольшим столом, в лиловом свитере. Стучит на машинке, медленно перепечатывает протоколы, подшивает. Часто звонит по телефону, вызывает к Карнаухову.

Прежнюю секретаршу, Варвару Алексеевну, в неизменном черном жакете, с жестким перманентом, хотя и недолюбливали за высокомерный тон, но принимали как нечто само собой разумеющееся, и теперь именно из-за нее трудно привыкать к новой секретарше. Очень уж неофициальный у нее вид.

Торопливо и чуть смущенно проходит по приемной начальник отдела труда и зарплаты Назаров в облегающем, залоснившемся на лопатках пиджаке, с толстой папкой, прижатой к бедру. Берясь за ручку дубовой двери, улыбается Юльке и скрывается в кабинете Карнаухова.

Из кабинета доносится то тише, то громче ровный голос Карнаухова. Бьют стенные часы. В коридоре управления зазвонили — конец рабочего дня.

Назаров, раскрасневшийся, выходит, бормоча что-то себе под нос. Нахмуренно опустив голову, стараясь не смотреть ей в лицо, проходит по приемной Федор.

— Домой идете? — спрашивает Карнаухов. Он уже в пальто, в меховой шапке.

Пока она собирала со стола и прятала бумаги, одевалась, он поджидал ее в дверях, и это было так странно, ведь он всегда засиживался допоздна у себя в кабинете.

Прошли по длинному коридору управления, спустились по лестнице вниз. Вышли во двор комбината, и Карнаухов не сел в машину, а пошел вместе с Юлькой дальше, к проходной, по утопанному снегу. По сторонам аллейки, защищенной кустарником, намело высокие сугробы. Яблони стояли в снегу.

— Зима снежная, — сказала Юлька, не зная, о чем говорить.

На трамвайном кругу люди постукивали ногами. Человек в стеганом ватнике курил, пряча от ветра папиросу в руку. Мигала папиросы, осыпались искорки, и это почему-то напомнило Юльке войну.

— Вам далеко? — спросил Карнаухов.

— Да нет, одну остановку всего, — мягко сказала Юлька, невольно отмечая про себя: он нисколько не стесняется того, что их видят вместе.

Не сговариваясь, они пошли пешком. Ветер крутил поземку, дул в лицо, и Юлька время от времени поворачивалась спиной к ветру и выжидала, пока он стихал. Потом они шли дальше, занятые тем, чтобы попасть в ногу, и смеялись, потому что это им не всегда удавалось.

— Вам не холодно?

— Да нет,— приподнято сказала она, чувствуя, что втягивается в какую-то игру.— Нисколько.

Она подбила ватином свое летнее светлое пальто и пришила цигейковый воротник.

— Вот только нос. Нос, правда, мерзнет.— Она прикрыла варежкой лицо и подышала, согревая нос.

Их на минуту разъединили прохожие.

— Мне-то что? — сказала Юлька, идя снова с ним рядом.— Мне всего-то пятнадцать минут ходьбы до дома. А вот Маруся, моя хозяйка, вчера за сахаром простояла... Вот намерзлась...

Карнаухов сказал невнимательно:

— Запасы делают — очереди создают.

— Да нет же. Какие там запасы! Кому охота в такой мороз.

— И такие есть. Хотят жить для себя, не считаясь с трудностями.

Они остановились. Здесь, на углу, ей сворачивать на 6-ю просеку.

— Ну, мне сюда,— сказала Юлька. Ей показалось, что Карнаухов потянулся что-то сказать и остановился.— До свидания.

Она быстро пошла, размахивая сумочкой.

Через несколько дней Карнаухов заболел. Он поминутно звонил в партком, и Юлька едва успевала записывать его поручения.

Вечером она принесла ему почту домой. Он лежал на раскладушке небритый, серый, был неприветлив, все время натягивал одеяло со сбившейся простыней на одно плечо.

Большая комната была пуста. Стол со стопкой книг да два стула. В стенном шкафу, наверное, остальное имущество. На подоконнике, рядом с кипой газет,— грязные тарелки. Большое окно голо.

Он жил здесь три года, а казалось, въехал только вчера.

Юлька вошла сюда воинственно, как входила в его кабинет. Невнимание Карнаухова к своему устройству, к своим удобствам удивило и тронуло ее. Понуро и робко сидела она на стуле.

Он курил, облокотившись на руку, и всякий раз, сунув папиросу в рот, придерживал рукой одеяло на плече.

— Что сказал врач? — спросила Юлька.— Какая сегодня температура?

Он пропустил ее вопрос мимо ушей. Его, по-видимому, тяготил ее приход, он был мрачен, расспрашивал, не глядя:

— Как сегодня в хлопкокрасильном? Без аварий? Сколько дали?

— Семьдесят пять тонн, кажется, или восемьдесят пять...

— Так сколько же? — нетерпеливо переспросил он.

Юлька пожала плечами.

Карнаухов подосадовал, что свалился в постель:

— Не вовремя.

Юлька ответила резонно:

— Так всегда говорят. И всегда бывает не вовремя. Что ж делать! Надо вылежать, Александр Егорович! — Она редко обращалась к нему так, обычно обходилась: вы, вас, вам. — А как накурено у вас. Просто невозможно. Вы накройтесь получше, а я открою фортку.

Он не ответил, погасив папиросу о блюде, лег на подушку, натянув до подбородка одеяло.

Юлька стояла под форточкой, ее обдавало холодным воздухом и мокрыми крупцами снега.

— Отойдите оттуда, — мрачно сказал он.

Она не ответила. Продолжала стоять, чувствуя на себе его взгляд и отчего-то волнуясь. Потом вернулась на прежнее место и только тогда увидела возле его постели накрытый газетой стул, а на нем телефон, блюдо, стакан с ложкой, какое-то лекарство. Одиночеством веяло от всего этого.

Он протянул ей пачку «Беломора». Юлька взяла и растерянно смяла папиросу. Потянулась прибраться на стуле и осеклась. Поняла: и здесь, как и в рабочем кабинете, когда она молча ждет, пока он придерживает прессом бумаги, чтобы расписаться, нельзя предлагать ему помощь.

**13** В День Конституции ударил сильный мороз, под карнизами повисли сосульки, и галки, слетавшиеся каждое утро на купол текстильного института, куда-то попрятались.

Но оттого что на улице было холодно, в маленькой комнате у Федора и Дуси вечером за праздничным столом казалось особенно уютно.

Дуся то и дело прибегала с кухни, где хозяйничала вместе с Марусей. На ней было новое шерстяное платье с плиссированной юбкой, которое очень шло ей. Она расставляла на столе тарелки с закуской и прислушивалась, о чем разговаривают между собой Федор и Леша Волков, и все время поглядывала на Федора.

Леша, в туго завязанном галстуке, покорный этому праздничному излишеству, помогал Дусе накрывать стол.

Федор откупорил бутылки и сидел без дела, учащенно дымя папиросой. Рассуждали о хоккее, о видах команды «Спартак» на первенство в этом сезоне. Комбинатских дел, не сговариваясь, не касались. Слишком свежо было в памяти состоявшееся недавно общее партийное собрание, на котором Волкова объявили отсталым мастером.

— И чего дымит?..— ворчала на Федора Дуся.— Ведь и курить-то не курит.

Наконец она в последний раз сходила на кухню и внесла на вытянутых руках, подальше от платья, кастрюлю с тушеным мясом.

Когда рассаживались у стола, появилась Маруся с замысловатыми, высоко взбитыми локонами.

Чокнулись.

— Ну, чтоб все были здоровы,— сказала Маруся.

Выпили и принялись за еду. Позвякивали вилками, хвалили принесенные Марусей соленые грибы и огурчики.

Леша за спиной у Дуси потянулся к Федору.

— Давай — за твой прибор! Все ж как-никак к концу подходишь. Федор торопливо привстал, держась за рюмку.

Дусе казалось, что работа у Федора в последнее время не ладится, потому и настроение у него какое-то нехорошее... А Леша говорит: к концу подходит... От выпитого вина у нее приятно кружилась голова. Она потерлась щекой о плечо Федора, зажмурив глаза.

— С твоей башковитостью в технике,— покровительственно говорил Федор,— если бы ты подучился после войны... А то вон — окрутила...

Маруся засмеялась и погрозила ему пальцем.

Федор, спохватившись, от души добавил:

— Но ты и так всем еще покажешь.

Он был рад, что вытащил их с Марусей на праздник к себе. Леша сейчас был ему особенно приятен — не хнычет, не жалуется, доброжелателен, как всегда.

— Нет, уж теперь все,— сказал Леша.— Теперь уж мне нечего соваться — не достоин.

— Все наладится,— сказала Маруся и вздохнула.— Вот премию, правда, не дали.

Разбилось, упав на пол, блюдец.

— Ну вот! — воскликнула сердито Маруся.— Медведь-то на самом деле. Размахался!

— К счастью, чего там!

Дуся вскочила. Леша сконфуженно пригнулся, помогая ей собрать с пола осколки.

— Ну вот, Маруся, и все в порядке. Всего-то делов.

— Да ну, ладно, чего там, потом подметем. Давайте лучше споем,— предложил Федор.

После этого маленького происшествия все развеселились. Леша снял пиджак, развязал галстук и разлил водку по рюмкам.

Дуся затынула:

— Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...— Она пела, закрыв

глаза, откинувшись на спинку стула. В ушах у нее поблескивали маленькие сережки.

— Подтягивай, Маруся,— сказал Леша и тоже стал петь.

От фронтовой песни, от нежности к Дусе у Федора заняло в груди. Взять и покаяться ей, снять с души грех. Никогда больше он не обидит Дусю. «Соловьи, соловьи...» Он пел, настраиваясь на какой-то возвышенный и торжественный лад...

— Ну, за дружбу,— тихо сказал Федор, взявшись за рюмку. Леша чокнулся с ним, но думал он о чем-то своем, и Федор, потускневший, посидел некоторое время молча, потом завозился, стал куда-то собираться.

— Чего это ты? — спросила Дуся.

Федор протиснулся из-за стола.

— Нет, нет, никуда не уйдешь. Вот он всегда так. Как выпьет — заводится,— говорила Дуся в коридоре у вешалки, держась за его пальто, и смеялась.

— Пусть идет,— сказал Леша,— пусть проветрится.

— И мы сейчас пойдем,— спохватилась Маруся.— Пора. А то наши ребята у соседки, проснутся да, чего доброго, испугаются на чужом-то месте.

Дуся засуетилась.

— Да нет же. Погодите. Успеете домой. Я сейчас его живо обратно приведу.

Она отпустила рукав Федора и, не переставая смеяться, побежала в комнату, достала из шкафа свое пальто. Маруся помогла ей надеть его — новое зимнее светло-синее пальто с серым каракулевым воротником.

Дуся догнала Федора уже на улице, в нескольких шагах от подъезда.

— Сами ушли, гостей бросили. На что это похоже!

— Ну чего ты. Ты не ходи. Я вернусь скоро.

Он наклонился поцеловать ее, и шапка у него сдвинулась на затылок. Дуся постояла, глядя ему вслед, постучала туфлей о туфлю и побежала к Марусе и Леше.

Заметно потеплело. Падал мелкий снежок. Он, наверно, падал уже давно, и все было бело и искрилось. Федору слышно было, как где-то неподалеку, должно быть за углом, дворник счищает метлой снег с тротуара.

Если б на него, как на Лешу, тумачи посыпались, как бы он выглядел? Махнул бы на все рукой, опустился? Или сжал зубы, чтобы работой доказать, чего он стоит? Он вот тоже, как и Леша, не за похвалу работает, но все же знает о себе: честолобив, ему не безразлично его место в любом деле. Леша другой. Федор не смог бы назвать словами, какой же он, Леша, но его не собьешь, чего

бы он там ни говорил. Леша работает так же серьезно, как раньше, на совесть.

«Ах, какой же парень!» — растроганно подумал Федор.

Было поздно, но город не собирался спать. Гармонист вел за собой по улицам стайку девушек. Заняв мостовую, с пением возвращались с вечеринки горластые студенты.

Федор машинально зашагал в такт их песни, и беспокойство, охватившее его, усиливалось.

На самом деле, ничего как будто не случилось. Человек не спился от неприятностей, не сломился. Все осталось по-прежнему. Никаких видимых потерь. Но кто ж знает, чего ему это стоило.

«Надо подумать обо всем, — Федор чувствовал себя беспомощно в этих непривычных ему размышлениях. — Обязательно надо подумать».

А сейчас ему хотелось идти и идти, приминая пухлый молоденький снег, и не думать ни о чем тягостном. Студенты свернули за угол, и теперь их песня, затихая, доносилась издалека.

Он тоже понимает, что Карнаухов не мед. Но без Карнаухова нельзя. Даже невозможно представить себе комбинат без Карнаухова.

В конце-то концов даже с этим делом Леша — не для себя же Карнаухов старается. Да, он требовательный, жесткий. Но он и себя не щадит — больной, не вылежав, выходит на работу.

И, думая так о нем, Федор чувствовал себя сродни Карнаухову, и ему хотелось сейчас поговорить с ним по душам, вспомнить войну.

Он пересек сквер. Гипсовая физкультурница, присыпанная снегом, готовилась метнуть диск.

Федор вышел на улицу Чехова и оказался теперь рядом с домом комбината. Он поднялся по лестнице, позвонил и ввалился через порог, не стряхнув с себя снега.

Человек, открывший ему дверь, отпрянул.

— Барулин? Ты к кому?

— Коркешин, ты? — Коркешин был в нательной рубашке и прикрывал ладонью распахнутый ворот. «Люблю Маню» вытатуировано у него на руке.

— Карнаухов дома?

— Случилось что? Да чего ж беспокоить человека в такой поздний час! Ты мне передай, я ему утром все в точности доложу. — Он суетливо загораживал Федору дорогу. — Да и отдыхает уже, должно быть. Чего ж беспокоить...

Федор добродушно отстранил Коркешина.

— Один раз можно. Это его дверь, что ли?

Он постучал. Ответили, нет ли, Федор не слышал. Он приоткрыл дверь и, приоткрыв, рад был бы захлопнуть ее.

В комнате у стола, напротив Карнаухова, сидела Юлька. На столе бутылка вина, консервы... Отступить было некуда, и Федор шагнул через порог.

— Ты ко мне? — спросил удивленно Карнаухов.

Юлька порывисто встала и тут же снова села.

— Федя!

— Кажется, я помешал...

В съехавшей на затылок шапке, весь в снегу, Федор в замешательстве переминался с ноги на ногу.

— Да нет. Отчего же, — сказал Карнаухов.

— Я тут шел мимо... На улицах народу полно. Гуляют... Вот подумал зайти...

Карнаухов сунул окурок в блюдце и взял из пачки папиросу.

— Не удивительно, что народ допоздна сегодня гуляет. Праздник, во-первых. И во-вторых, завтра воскресенье, не вставать рано...

— Да, — сказал Федор. — Удачно в этом году — День Конституции пришелся на субботу. Два дня свободных.

Помолчали с минуту.

— Понимаешь, — сказал Федор, — хотел о Леше Волкове с тобой поговорить.

— А что, собственно, говорить? Да и стоит ли сегодня, праздник ведь. Давай лучше выпьем.

Юлька с готовностью вскочила, чтобы достать третий стакан, но тут же смутилась, что ведет себя, как хозяйка.

— А где стакан взять? — спросила она.

Карнаухов пожал плечами.

— Два. Вроде нет больше.

Федор сел, снял шапку, поискал глазами, куда бы определить ее, положил на пол.

Карнаухов проследил за Юлькой — она пошарила на подоконнике, вернулась ни с чем и принялась разливать вино в те два стакана, что стояли на столе. Пододвинула наполненный стакан Федору.

Второй стакан с вином Карнаухов протянул Юльке.

— За что выпьем? — спросил Федор, глядя Юльке в глаза.

Юлька покраснела, замялась.

— Ну, давай за праздник, — сказал Федор.

Юлька отпила чуть-чуть. Федор, опрокинув залпом стакан, подумал зло: «А прикидывалась овечкой», развернул веселую обертку конфеты и громко сказал:

— Зря Волкова обидели, — и сам удивился тому, как неожиданно резко прозвучали его слова. И хоть по дороге сюда вовсе не думал защищать Лешу перед Карнауховым, он понял: высказал то, что точило весь вечер.

— Какие могут быть обиды? — сказал Карнаухов. — Напрасно беспокоишься. Только на пользу пошло всем, в том числе и Волкову. Лицом повернулись к новой технике.

Столбик пепла на папиросе у Карнаухова осыпался на темно-синий костюм. Он напряженно посмотрел на Федора.

— Ты, кажется, жил у него?

Федор не видел Юльки, но почувствовал на себе ее взгляд.

— Не заслужил комнаты на комбинате, вот и пришлось стеснять людей, — резко ответил он.

Но потому, что разговор перекинулся вдруг на комнату, на их с Дусей комнату, он смешался, испытывая мучительную неловкость перед Юлькой.

— Жил, пока не подыскал комнаты.

— Я тоже у них живу, — вставила Юлька. Ей казалось, Карнаухов и Федор спорят из-за нее, и она была взволнована этим и не могла вникнуть, о чем же они говорят.

На ее слова не обратили внимания. Посидели молча. Федор вертел в руках пустой стакан. Глупо! Глупее не придумаешь. Он сидит тут третьим за столом и пьет их вино. Он посмотрел на Юльку, скрестившую на груди руки, и Карнаухова, чиркавшего спичкой о придавленный мизинцем коробок. Надо было встать и уйти. Но он продолжал сидеть, хотя его распирало от злости. «На пользу пошло...» Все о пользе заботится и свою пользу тоже не забывает. Он почувствовал, что бесстыдно обманут. Считал всегда, что Карнаухов непогрешим... А еще берется других судить...

— Ты бы пальто снял, — сказала Юлька.

Он не пошевелился, ничего не ответил ей.

— Не вышло у нас с тобой разговора, — сказал он Карнаухову.

— Да, не вышло, — Карнаухов снова налил вино в стакан Федора.

— Ну что ж. — Федор отодвинул стакан. Лицо его было бледно. — Не буду мешать.

Он поднял с полу шапку. Юлька следила за ним грустно и взволнованно. Он хотел что-то еще сказать, но сдержался, помедлив, надел шапку и простился кивком головы.

**14** В сквере горсовета зажгли новогоднюю елку, и издалека светится пятиконечная звезда на ее макушке.

У высоченной елки, сверкающей огнями, гирляндами, веселыми игрушками, толпится народ.

Несмотря на поздний час, старики привели сюда внучат, примчались маленькие лыжники, на саночках привезли укутанных сонных малышей.

Юлька и Карнаухов тоже остановились у елки. Золотые рыбки, пестрые книжки, ведерки, ружья, хлопушки, морковки и, главное, огромный ватный дед-мороз, опирающийся на посох, приводят в восторг детвору.

— Мне бы платили, я бы тоже постоял за деда-мороза,— говорит кто-то из ремесленников, толпящихся здесь. Они дымят папиросами, постукивают ботинками, согреваясь.

Юлька смеется, оглядываясь на них.

В нескольких шагах отсюда безлюдно, тихо. Усыпанный снегом обелиск «Жертвам революции». Тишина, снег и веселая разноглаголица, долетающая сюда от елки.

Карнаухов и Юлька то идут дальше по скверу, то останавливаются. На свету под фонарями мечутся снежинки. У Карнаухова глаза ошеломленные, счастливые.

Как же все это случилось с ним?

Вошла однажды в кабинет: «Я относительно работы...» Подмалеванные ресницы, и вся повадка какая-то непривычная. При чем тут работа в парткоме? Но вспомнил вдруг — фронтовичка. С первого раза почувствовал интерес к ней. Вот взяла и приехала повидать Барулина, бросила все в Москве. А он бы так мог?

Юлька смеется. В голубых глазах ее веселые искорки, пуховую косынку запылил снег.

Она скользит по накатанной ребятами ледяной дорожке, держась за Карнаухова.

Он чувствует себя так, точно это не он — Карнаухов Александр Егорович, а глупый, беспомощный Сашка, которому мать дает еще подзатыльники.

Надо бы присесть, призадуматься, разобраться во всем. Но нет у него привычки думать о своем, о личном. Нет и времени. И дни мчатся. По-прежнему он получает письма из Горького: «Здравствуй, Александр!» И спустя день-другой отвечает: «Александра, здравствуй!» Они с женой — тезки.

Иногда он звонит в Горький и спрашивается об отметках дочери — она первый год как пошла в школу. А жена беспокоится, что быт его не налажен. Но вот уже три года, как он переведен сюда в Николово, а она никак не расстанется с Горьким, где работает учительницей.

Правда, жена проводила у него свой отпуск. Он же обычно отдыхал в санатории и был доволен, когда ему отводили комнату в главном здании, хотя в маленьких флигелях санатория жить было удобнее. Но об удобстве он никогда не заботился. Лично ему ничего не было нужно. Но его положение, казалось ему, требовало известного внимания.

По-прежнему он целиком был поглощен работой.

На комбинате привыкли идти к Карнаухову за последним словом по любому вопросу. В кабинете стоит длинный стол заседаний под зеленым сукном, и стулья с высокими спинками теснятся по стенам, и дощечка обращена к посетителям: «Не курить!» И Карнаухов, как всегда, кажется напористым, решительным, сильным.

Но теперь, разговаривая с кем-либо по делу, он ни с того ни с сего мог вдруг задуматься: что это за человек?

То понимание людей, которое у него было еще совсем недавно, исчезло, и в каждом ему мнится что-то незнакомое и очень важное...

**15** Оживленно на улицах. Из магазина в магазин снуют люди с продуктовыми сумками — готовятся к встрече Нового года. Любят в Николове праздники, как, впрочем, и повсюду.

У Маруси все готово: полы вымыты, фикусы перетерты, чисто и пахнет пирогами. Елка наряжена, и Генька весь день толчется возле нее, ожидая, когда зажгут лампочки.

Вышла из своей комнаты Юлька.

— Ой, Юля! — Маруся восхищенно застыла. — Ой, как тебе хорошо! Какая ты красивая в этом платье!

Юлька охотно покрутилась, показывая себя.

Маруся заторопилась одеваться.

— Как на вешалке висит, — не огорчаясь, сказала она, надев крепдешинное василькового цвета платье. — А до ребят я знаешь какая солидная была! Вот бы ты поглядела.

Она прошла в лодочках на высоких каблуках, быстро поправила скатерть, взбила подушки на диване — беспокойная, проворная. И не утерпела, скинула лодочки, поставила у стены и привычно легко забегала в одних чулках. Ребята, переодетые в новые матроски, присмирели.

Все было готово, и Маруся блаженно развалилась на диване.

Наконец заскрипела дверь в сенях. Вернулся Леша — заходил в поселке к товарищам, поздравлял с наступающим Новым годом. Он простучал по половицам твердыми, задубевшими валенками.

— Милости просим, Алексей Иванович, — сказала Маруся.

Она помчалась на кухню. Вместе с Юлькой они быстро перетаскали все на стол в комнату. Было суматошно. Зажгли елку, и Генька запрыгал вокруг нее.

Леша переобувался, в то время как мимо него бегали Маруся и Юлька с тарелками.

— Вера-то Зотова сегодня отличилась — две нормы дала. Можно сказать, отметила Новый год...

На столе все было готово. Маруся надела стоявшие у стены лодочки, и пошли к столу. Чокнулись — проводили старый год. Генька обрадованно поковырял вилкой в тарелке, и не успели опомниться, как он засопел и сонно привалился к столу. Дима терпеливо ждал появления Нового года.

В репродукторе раздался последний, двенадцатый удар часов. Чокнулись.

— Вот и встретили Новый год, — сказал Леша. — Ну, будь здорова, Маруся.

Он выпил, встал и поцеловал одного и другого сына. Дима сонно и разочарованно жевал пирог. Маруся взяла на руки Геньку и понесла его на кровать.

Окна заледенели, и нельзя было разобрать, что делается на улице. Юлька и Леша, не сговариваясь, накинув пальто на плечи, вышли на крыльцо. Во всех домах поселка горел свет. За замерзшими окнами, казалось, мелькали люди. В том конце улицы, слышно было, играла гармонь. А слева стояли ярко освещенные, приблизившиеся, огромные корпуса комбината.

— Новый год начали, — сказал Леша о тех, кто работал сейчас у станка. И Юльке было приятно, что и Карнаухов сейчас там, с ними.

Она видела сбоку лицо Леша. Ей казалось, что она давным-давно знает его. От его душевной расположенности к людям и ей становилось теплее.

Падал мелкий снежок — снежная зима стоит, — он падал на что-то темное, должно быть, на забытый Марусей на веревке выстиранный половик...

В крайнем доме поселка, у Козловой, поют хором, да так, что сквозь двойные рамы песня несется на улицу.

Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Прасковья Матвеевна поет с хмельком в голосе. Николай Арсеньевич поет серьезно, мягко и покачивает в такт головой.

Старшая дочка Козловой, вылитая мать, прямая, строгая, но с пухлыми губами, сидит рядом со своим курчавым женихом, держась с ним за руки, старательно выводит:

...плыть молодцу недалеко...

От песни поднимается в груди что-то заветное, чувствуешь себя ближе к своей молодости.

— Который год, Паня, вместе отмечаем? — говорит Козлова.

— Восемнадцатый, чтоб не соврать, Фая.

Николай Арсеньевич, соскучившись по мужскому обществу, подсел к мужу Козловой, веселому, вспотевшему крепышу.

Патефон наигрывает: «Светит месяц, светит ясный»... Жених дочери приналег и сдвинул стол.

Молодые отплясывали, не сводя глаз друг с дружки, а Прасковья Матвеевна и Козлова пошли навестить Волковых.

Взявшись под руки, они шли мимо одноэтажных поселковых домов, гремящих музыкой и веселыми голосами, по только что выпавшему снегу.

За забором у соседей Волковых тьякнула собака.

— Принимай гостей! — крикнула Прасковья Матвеевна. Она поднялась на крыльцо и расцеловалась с появившимся в дверях Лешей.

— С Новым годом вас, Алексей Иванович, — сказала Козлова, протянув ему руку. — С новым счастьем!

Маруся замешкалась, надевая второпях свои туфли-лодочки, и выбежала навстречу гостям, когда они уже снимали в кухне пальто, раскрасневшаяся от смущения.

— Пожалуйста, заходите, — говорила она, наскоро поцеловавшись с ними.

— Ох, и наследим мы тебе на полу, — сказала Козлова.

— Ну вот еще! О чем беспокоиться.

— Не беда. Год большой. Успеет Маруся убраться, — сказала Прасковья Матвеевна.

Леша разливал по стопкам водку.

— Уж все остыло... И пироги и мясо, — сокрушалась Маруся.

— Позднему гостю — кости, — сказала Козлова и вслед за Прасковьей Матвеевной поздоровалась с Юлькой и села к столу.

Дети спали. Их уложили в маленькой комнате, на кровати у Юльки.

— Ну, чтоб все были благополучны, — сказала Прасковья Матвеевна.

Чокнулись, выпили. Гости принялись оживленно обсуждать с Лешей новые нормы на прядильных машинах.

— Пока в новую колею не войдем, напряженно поработать придется, — говорил Леша.

— Ты, Леша, не беспокойся, — сказала Прасковья Матвеевна. — Коллектив подтянется, все силы приложит. Коллектив тебя уважает как заботливого мастера.

Маруся покраснела от удовольствия.

Прасковья Матвеевна потянулась со стопкой к Юльке.

— Допьем? Чтоб год полный был. Знакомое лицо у девушки, а не припомню никак, где работает.

— У нас, — сказала Маруся. — Это же Юля. В парткоме работает секретарем.

Юлька улыбнулась и кивнула, подтверждая.

— Ну, точно, точно. Как же я не вспомнила? — Прасковья Матвеевна вытерла уголки рта двумя пальцами и сказала, взглянув на Лешу: — А перед тобой коллектив в долгу. Виновен перед тобой.

В комнате стало так тихо вдруг, что слышно было, как под окном прошли парни с гармонью и громко пели вразнобой.

— Ты, тетя Паня, о чем? — нахмурившись, спросил Леша.

— Недоработка парткома в этом вопросе была, — сказала Козлова и покосилась на Юльку.

— Вот и надо было нам поправить дружно, — сказала Прасковья Матвеевна.

— Да заробели...

— Ну уж, и заробели, — рассердилась Прасковья Матвеевна.

— И заробеешь, — строго сказала Козлова. — Может, ошибаюсь в чем. Ведь Карнаухов знает, что говорит. Он вроде надежней тебя самого. Должность такая, да и знает он что-то, чего ты не знаешь. Так неужели во вред делу пойдешь?..

— Дурная привычка — самим себе не доверять. Пора уж отходить от нее.

— Да ну, что об этом, — сказал Леша. — Дело уж, можно сказать, прошлое.

Юлька с тревожным выражением лица смотрела на говоривших, смутно улавливая в их словах отголоски уже слышанного однажды.

— Не в одном тебе, Леша, дело, — сказала Прасковья Матвеевна. — Несправедливость знаешь как коллектив портит.

Леша возбужденно привстал, потом спохватился:

— Чай поспел, что ли? А то гости не пьют, не едят.

— Вот, девушка, какие дела, — сказала Прасковья Матвеевна, обернувшись к Юльке. Юлька улыбнулась приветливо и виновато, чувствуя неловкость перед этой пожилой женщиной и расположение к ней.

Четвертый час. На улицах оживленно, как днем. Взрослые люди бросают друг в дружку снежки. Забубенно отплясывает на ходу под гармонь вихрастый парень без шапки.

Расходятся по домам. Отшумели сборы, хлопоты, волнения.

Горит елка в сквере у горсовета, и светит звездочка на ее макушке. Свистят шины пронесшихся такси. По мостовой родители ведут за руки выпавшегося в гостях, бодро шагающего маленького человечка.

Автобус подкатил к остановке у клуба комбината, высунулась голова кондуктора:

— Все садитесь! Последний автобус!

— Ой, сели, сели,— запрыгала Дуся. Федор помог ей подняться в автобус.

На заднем сиденье проснулся парень.

— Садитесь. Это — последний. Сейчас доедет до конца — рассыплется.

Автобус дернулся, раскатился, хмельной какой-то, тормозит невпопад. Три девушки стучаются головами, обсыпанными разноцветными кружочками конфетти.

Дуся смеется и держится за Федора. Вот и Новый год настал. Ну, чтоб все было хорошо. Чтоб войны не было. Чтоб Федя не хмурился, не отмалчивался. Чтоб комнату им дали в новом комбинатском доме. И чтоб ей при новых нормах на ткацких станках не ударить лицом в грязь.

**16** Юльке открыл дверь Коркешин.

Первое время Коркешин терялся, не знал, как повести себя. Решил было, что целесообразнее не замечать Юльки,— так и действовал. Теперь же наверстывал.

— Добрый вечер, Юлия Сергеевна,— сказал он непринужденно и скрылся за дверью.

Юлька вошла в комнату и увидела Карнаухова. Она увидела его бледное лицо, встретила взглядом с его потемневшими глазами и почувствовала, с каким мучительным нетерпением он ждал ее.

Карнаухов неуклюже одной рукой помог ей снять пальто.

Он взял ее задеревеневшую руку, поднес ко рту, подышал в ладонь и спрятал к себе под пиджак. И вторая Юлькина рука проделала тот же путь. Юлька чувствовала, как у него под рубашкой стучит сердце, и стояла, прижавшись к нему, покорно, не глядя ему в глаза.

Она сказала мягко:

— Ну вот, теперь, кажется, согрелась,— отняла руки и села возле стола.

Она сидела в своем лиловом свитере под свешивающейся с потолка на шнуре яркой лампочкой. Карнаухову был виден ее профиль и небрежно сколотый на затылке пучок русых волос, готовый вот-вот развалиться.

Он закурил, прошел по комнате и вдруг с пронзительным чувством нежности увидел ее тонкую шею, тесно схваченную у ключиц воротом свитера. Ему захотелось чего-то совсем необычного, праздничного. Он сам не знал чего.

Он сел возле Юльки на стул. Глаза его еще больше потемнели и ушли вглубь. Неужели это тот самый Карнаухов, которого она

каждый день видит на работе? Карнаухов вдруг пододвинулся и с размаху бухнулся лицом ей в колени. У Юльки даже дыхание перехватило. Мелькнуло в голове: Сухарь Сухаревич. Так называет за глаза Карнаухова кое-кто в управлении. Вот посмотрели бы сейчас... Она тихо засмеялась и погладила его голову, лежащую у нее на коленях.

Карнаухов встал и молча вышел на кухню поставить чайник.

Он быстро вернулся.

— Скоро закипит. Тебе согреться надо.

Юлька перелистывала «Огонек».

— Ты сядь.

Он сел на прежнее место рядом с ней. В это время зазвонил телефон. Карнаухов снял трубку.

Речь шла, насколько поняла Юлька, о показателях работы комбината за первую декаду года. Прядильная фабрика недодавала по плану. Карнаухов был крайне недоволен.

Со смешанным чувством уважения и неприязни Юлька слушала, как он разговаривал. Ей казалось — на том конце провода бьется человек, порываясь объяснить ему что-то, а Карнаухов сухо и резко обрывает его, точно он один только болеет за дело. И как знакомы эти фразы Карнаухова, они как отлитые болванки: «имейте в виду...», «придется поставить вопрос...»

«Да какой же он человек на самом деле: тот, что был пять минут назад, или вот этот?» — беспокойно думала Юлька.

Карнаухов положил трубку и прошелся по комнате.

Юлька спросила:

— Это хлопкокрасильный не справляется? Да?

Он ничего не ответил ей.

— Будете «ставить вопрос», — помолчав, сказала она задетая, — не поступите, как с Лешей Волковым. — Карнаухов остановился, посмотрел на нее напряженно. Она сказала, волнуясь: — Если это правда, что человека ни за что так стукнули...

Карнаухов вытащил из кармана пачку «Беломора», но папиросу не взял, а бросил пачку на стол. Между бровей у него встала жесткая складка. Он побарабанил раздраженно пальцами по столу — какое ей дело до всего этого?

— Известно ли тебе, что Волков панибратство развел у себя на участке? С помощниками мастеров — «Ваня», «Миша», да на «ты». И не надо забывать, что именно на его участке новая техника лежала мертвым грузом.

Юлька удрученно пригладила юбку на коленях.

— Вот, говорят, о вкусах не спорят, и верно.

Карнаухов не слушал, и она замолчала. Видно, ему не понять натуру Леша — вот и все.

— Я хотела сказать, что человек, на которого обрушатся такие неприятности, да еще несправедливо, может потерять в себя веру...

— Отвлеченно судишь. В отрыве от жизни.— Он ходил по комнате с потухшей папиросой во рту, комкая ее губами, переталкивая из угла в угол рта.— Чужие слова повторяешь...

Юлька вспыхнула. Оба неловко замолчали.

Карнаухов положил папиросу и с превосходством человека, ясно понимающего смысл явлений, сказал:

— Мелкие, второстепенные вопросы заслоняют от тебя главное, основное. С Волковым поступили именно так, как должны были поступить. Я уже говорил: на ошибках одного учится вся масса. И весь этот спор беспринципен. Но Барулин...— Он осекся, оттого что почувствовал, как неприятно ему произносить это имя.— Но когда непременно желаешь что-то оспорить, всегда найдутся какие-нибудь объективные доводы. Особенно, если выше интересов партии ставишь свои личные отношения с человеком... А о Волкове что ж! Обычный эпизод, каких немало было и будет в жизни каждой парторганизации. Человек не уволен, работает. Исправит недочеты — учтем...— Он помолчал и добавил с силой, точно отстаивая перед Юлькой что-то заветное: — Волков — член партии. Он поймет: значит, так надо было. И давай кончим об этом.

Юлька с беспокойством слушала Карнаухова, подняв голову.

— Как ты просто судишь!

Карнаухов сказал сурово:

— Я знаю, что говорю.

— Я хотела сказать: может быть, если бы ты был внимательнее...

— Внимание, доверие, уважение! — Он вспылил.— Новая конъюнктура для демагогов! Меня три раза избирали на комбинате — значит, люди верят мне. Да что мы затеяли этот разговор? Кончим обо всем этом!

Он обеспокоенно наклонился к ней и через ее плечо заглянул в раскрытый на столе «Огонек».

— Вот, смотри-ка снимки Москвы. Высотный дом на Смоленской площади. Узнаешь?

Юлька не ответила, сидела замкнуто, подперев щеку рукой, видя перед собой его высокий лоб, гладкие блестящие волосы, высоко срезанные виски. Вспомнила почему-то, как на собрании Карнаухов берет слово последним и называет демагогами людей, критиковавших за что-либо партком.

— Как же я тебя ждал,— заглядывая Юльке в лицо, заговорил Карнаухов.— А про чайник-то мы забыли!

— Я чаю не хочу.— Юлька встала.— До чего же у тебя накурено! — Прошла от стены к другой, такой же выцветшей. Дым, дым. Ничего, кроме дыма, в этой пустой холодной комнате.

— Ты сядь! — Он поймал ее руку и притянул к себе. Ему хотелось сказать что-нибудь такое, что сразу рассеяло бы осадок от их разговора. — Я вот не умею о звездах, о том о сем...

— Необязательно.

— Ну все же. А я вот не умею. — Он шутливо, но с искренним сожалением вздохнул.

Юлька села на стул, натянула к подбородку ворот свитера, перекинула ногу на ногу. Зачем она здесь сидит?

— Уехать бы... Сесть бы в поезд и уехать, — устало сказала она.

— Куда же?

— Куда-нибудь. Все равно куда. Ведь есть же где-нибудь такое место... Приедешь — и все тебе по душе.

— Ты сегодня что-то не в своей тарелке. И не жаль оставить Николово?

— Николово и без меня не пропадет.

— К чему ты это говоришь? — сурово спросил Карнаухов. — Болтаешь.

— Нет, я правда уеду.

Она вдруг с горечью охватила мысленно свою послевоенную жизнь: неустройство, нелепое замужество и наконец Федор. Это из-за него оказалась она здесь. В этой комнате.

— Ну, ладно, ладно. Не будем. — Карнаухов наклонился, заглядывая ей в глаза. — Ну, не будем больше. Никуда ты не уедешь.

Он прижался головой к ее голове. Юлька резко отстранилась. Чувство неприязни к себе и к нему неудержимо охватило ее.

— Не надо! Уеду я...

Он встал. Потерянно усмехнулся, тускло посмотрел на нее и сказал сразу осевшим, хрипловатым голосом:

— Вот что — ты уходи. Слышишь? Совсем уходи!

Опустившись на стул, он сидел, закрыв лицо рукой, и слышал, как немного спустя хлопнула дверь вниз в подъезде.

**17** Утро. Тихо-тихо, ничто не колыхнется. Тепло и слегка туманно. И стволы и ветки деревьев мохнаты от облепившего их снега. В такой день лучше видишь, как много деревьев появилось в городе.

По обе стороны подъезда горсовета матовые фонари, как вылепленные из снега. На боковой улице галки покрикивают, взмахивают крыльями, усаживаясь на деревьях, и снежок осыпается с веток на большие сугробы у края тротуара.

Проехали сани — на бидонах молока сидит дяденька в тулупе. Откуда ни возьмись, воробьи слетелись на теплый навоз.

В это безмятежное утро жизнь Прасковьи Матвеевны перевернулась.

Все началось с того, что на прошлой неделе ее позвали в завком и предложили путевку в санаторий. И пришлось ей, как водится, с курортной картой обойти кабинеты поликлиники.

Ушник, глазник, невропатолог... Терапевт спросил, как и все остальные:

— На что жалуетесь?

Прасковья Матвеевна ответила:

— Ни на что.

А пока врач выслушивал ее, вспомнила: под грудью что-то давит...

Врач ощупал указанное ему Прасковьей Матвеевной место, помял живот и направил на рентген.

Когда она пришла за ответом к врачу, на столе у него лежал маленький листочек — направление в онкологический диспансер.

В приемной диспансера было сумрачно. На стенах плакаты: «Что нужно знать о раке» и «Боритесь с мухами, мухи-разносчики желудочных заболеваний».

Смотреть на стены не хотелось. Прасковья Матвеевна то и дело вздыхала. У нее было такое чувство, как будто она из этой темной приемной никогда больше не попадет на свет. Тоска и страх сдавили ей грудь. Ее удивляло, что люди еще спорят, чья раньше очередь к врачу.

Из кабинета врача вышла расстроенная женщина, молодая, с бледным приятным лицом. Она вздохнула и сказала негромко, ни на кого не глядя:

— Всех дел нам, видно, не переделать,— и вытерла глаза концом косынки.

Вызвали Прасковью Матвеевну. Она поднялась, глубоко вздохнула. Переступив порог, еще раз невольно вздохнула. Ей велели лечь на кушетку, и это было к лучшему — она чувствовала слабость в ногах.

Врач, черноволосый грузный человек в очках, с закатанными рукавами халата, и три молодые женщины, окружившие его, рассматривали рентгеновский снимок и переговаривались между собой непонятными словами. Да Прасковья Матвеевна и не хотела прислушиваться к их разговору. Сиротливо и обреченно ударяло сердце. Врач подсел к ней на кушетку. Он внимательно посмотрел на нее, встретился с ней взглядом сквозь толстые стекла очков.

— Ну-ну-ну! — сказал он. — Приказ: голов не вешать, а глядеть вперед.

Врач вдруг показался Прасковье Матвеевне всемогущим, она доверилась ему, и надежда шевельнулась в ней.

— Анна Владимировна, а ну-ка,— позвал врач одну из женщин и уступил ей место.

Все три молодые врачихи по очереди садились на кушетку возле Прасковьи Матвеевны. Врач говорил:

— Округлость чувствуете? Края найдите.

Они сильнее впивались пальцами в тело Прасковьи Матвеевны, и Прасковья Матвеевна терпеливо сносила боль и рассматривала побеленный потолок и лампу, свисающую на шнуре.

— Никогда не болела,— услужливо сказала она врачу, уже одевшись и ожидая возле его стола.

Он кончил писать, протянул бюллетень и, пригнув большую голову, глядя мимо Прасковьи Матвеевны, сказал:

— Ну, вот что. Возьмем вас к нам в клинику. Операцию делать вам будем. Вот только место освободится.

— Выходит, плохо дело,— сказала Прасковья Матвеевна.

Врач легко поднялся из-за стола.

— Уж обязательно и плохо! — И направился к умывальнику.— После резекции организм приспособляется...— Намыливая руки, он через плечо оглянулся на практиканток. Те заговорили разом, и голоса их показались Прасковье Матвеевне фальшивыми.

На улице она пришла в себя. Было много народу. Город очищали от снега. Скрипели полозья огромных саней, на которых везли снег. Свежий воздух возвращал Прасковье Матвеевне силы. У нее нигде не болело, и все, что произошло с ней, казалось ей дурным сном.

За длинную бессонную ночь надежда оставила Прасковью Матвеевну. Ни слова ни говоря Николаю Арсеньевичу, она прослонялась все утро без дела по дому и, одевшись, ушла заблаговременно на комбинат. Ее бригада работала во вторую смену. Накануне она велела Нинке-ФЗО сходить с утра в диспансер, назваться ее дочерью и поговорить с врачом.

— Смотри, Нинка! — пригрозила она девчонке, строго предупредив, чтобы та ничего от нее не утаивала.

Было воскресенье, но диспансер, как и комбинат, работал.

Прасковья Матвеевна прошла по первому этажу прядильной фабрики. Везли на автокаре катушки пряжи. Пух метался по коридору.

Сейчас Нинка, наверное, слушает, что говорит грузный черноволосый доктор. Прасковье Матвеевне припомнились его глаза, странно увеличенные толстыми стеклами, и «приказ: голов не вешать, а глядеть вперед». Так хорошо знакомые слова из песни ее молодости. Вслед за тем она подумала, что он, должно быть, всем го-

ворит так, и неясная обида на него и на всех людей шевельнулась в ней.

Из цеха в комнату мастера быстро прошла похудевшая Ольга Филиппова, контролер. Еще недавно в декрет уходила. «Как время-то катится», — сказала себе Прасковья Матвеевна и вдруг впервые охватила значение этих слов, так часто безобидно произноси-мых ею.

Прасковья Матвеевна вышла на улицу. Ветер напористо кинулся в лицо. Подняла воротник. В саду перед огромным корпусом прядильной — застекленные стенды с портретами передовиков.

Машинально отсчитала: один, два, три... Четвертый справа — ее портрет.

Вдалеке за полотном узкоколейки, за забором комбината, в небе видна высокая труба ТЭЦ, снабжающей комбинат паром.

Заслонив меховым воротником лицо, Прасковья Матвеевна медленно прошла вдоль прядильного корпуса. У бронзовой доски, где покоится прах Орлова, остановилась. Прасковья Матвеевна помнила: когда он умер, вводили вторую очередь комбината. Помнила похороны в осенний денек...

Потом она увидела на аллейке Нинку в шляпке и в новом пальто, которое та на работу не надевала.

— Ну что?

Нинка подняла к ней лицо с виновато вздернутым носом, испуганно, быстро заговорила:

— Сказали, как давеча вам... А больше, тетя Паня, ничего...

— Ну-ну, — сказала Прасковья Матвеевна и посмотрела на ее ярко-голубую фетровую шляпку, неловко сдвинутую на лоб. — Врешь ведь.

Нинка села на низкую загородку аллейки и всхлипнула.

— Ну, чего ты? — спросила Прасковья Матвеевна. — Не реви. Ну же.

Нинка всхлипнула громче и уткнулась лицом в пальто Прасковьи Матвеевны.

Прасковья Матвеевна посмотрела вдаль. Так же дымила высокая труба ТЭЦ... Из забитого снегом репродуктора что-то объявил диктор. И голос Зары Долухановой залился: «Весна идет! Весна идет!»

— Ты Козловой держись, — сказала Прасковья Матвеевна. — Она тебе заместо матери родной...

Она прижала Нинкину голову к себе. Потом, наклонившись, поцеловала ее в мокрые губы и пошла. Мимо прядильной, мимо могилы Орлова, по аллее, защищенной от ветра деревьями и кустами.

Дальше через узкоколейку, мимо «комсомольского поста», где толпились люди у новой карикатуры,

В дверях проходной ее остановил мастер Коркешин.

— А что, Матвеевна, если я к тебе Тютюникову переведу?

— Больно надо! Браком чтоб завалила!

— А ты куда это?

— По бланке гуляю.

Он покачал головой.

Грохнула за ней дверь проходной. И все как оборвалось. Все кончилось. Был ли, есть ли комбинат — не ее это теперь забота. Храбрись, Паня. Не хуже тебя люди были, тоже умирали.

Уже тянулись к смене рабочие. Прасковье Матвеевне непривычно и тяжело было идти навстречу потоку рабочих. Она молча здоровалась, стараясь не останавливаться, а кое-кому все же приходилось объяснять — прихворнула. И шла дальше своим путем. Ей никто сейчас не был нужен. Только вот та женщина, что вчера в диспансере так просто, терпеливо, достойно сказала: «Всех дел нам, видно, не переделать». Только она одна была сейчас близка Прасковье Матвеевне, как сестра родная.

Спуск вниз. Здесь выбитая ногами в снегу плотная дорожка, черная от шлака: посыпали, чтобы не скользко было идти. Павильон для ожидающих. Здесь трамвай делает круг. Люди на кругу прячутся от ветра в павильон. Как переменялась погода...

Дальше. Мимо поселка жилых домов, пошивочного ателье, мимо белого в колоннах, комбинатского кинотеатра. Репродуктор над входом гремел танцевальной музыкой. Сколько музыки на улице!

Прасковье Матвеевне хотелось скорее попасть домой. Она свернула вправо, мимо кирпичного здания школы, желтенькой бани. Кончились дома комбината. «Остерегайтесь собаки!» Деревянные глухие заборы со щелочкой для писем, с дощечкой, предупреждающей о злой собаке, стояли надежно, дружно, словно взявшись за руки. Некоторые обвиты поверх колючей проволокой.

От кого защитились? Как-то не задумывалась раньше, а теперь Прасковье Матвеевне нелепостью показались эти ограждения от людей.

Прогудело... Заступает ее смена... Прасковья Матвеевна перешагнула через заваленную снегом канаву — напротив, за продуктовым магазином, снова начинался квартал больших корпусов.

Дверь в комнату была заперта — Николай Арсеньевич куда-то ушел. Прасковья Матвеевна приподнялась на носки и нащупала на притолоке оставленный ключ. Закрывает за собой дверь и навесила крючок. Ей хотелось плакать, но слез не было, и беззвучный стон сотрясал все тело.

— Ну, все, все, — сказала она, успокаивая себя.

Она попробовала было прилечь и откинула покрывало, но только разувшись, села на постель, как со всех сторон ее обступила

тишина и в груди громко заколотилось. Она нащупала ногами стоптанные войлочные туфли, надела их и, тяжело переваливаясь, громко охая, подошла к окну. Напротив ее дома обычно гудела лесопилка, и сколько раз Прасковья Матвеевна жаловалась: в цехе гудит — и дома не легче. А сейчас все вымерло. Воскресенье. А так хотелось услышать сейчас этот гул.

Из высокой трубы ТЭЦ тек дым. А недавно по вечерам в том месте огоньки горели на кранах — там еще только строили. Ей стало невозможно дома, и она торопливо собиралась, охая и держась рукой под грудь.

Спускаясь по лестнице, она подумала, что знает, как умирали в прежнее время, — причащались, просили отпущения грехов. А вот как теперь умирают, не на войне, а дома, в постели, почти ничего не знает.

Перейдя на ту сторону через трамвайную линию, к остановке, она задержалась у большого полинявшего щита: «При переходе улицы будь внимателен», разглядывала картинки, изображающие опасные для нарушителей правил положения, и ее тронула эта работа.

В трамвае она села рядом с кондуктором, молоденькой девушкой с сильно нарумяненными щеками, в высокой меховой шапке и поверх нее в платочке, как в кокошнике. Из обрезанных пальцев перчаток выглядывали ее веселые ногти с самодельным маникюром.

На площадке трамвая стояли небольшой лом и лопата, пол в трамвае был очищен от обледенелого снега, и Прасковью Матвеевну это тоже тронуло.

— Вам велят очищать? — вежливо спросила она.

— Почему это велят? Не обязаны! Для себя делаем. Ехать легче.

Прасковье Матвеевне показался грубым ответ девушки, и она отсела от нее. У горсовета она сошла. Вокруг засыпанного снегом фонтана на сквере бегала детвора, визжа и кидая друг в друга снежками.

Прасковья Матвеевна медленно шла и улавливала то, что никто из прохожих, очевидно, не слышал, — им не было до этого никакого дела, — в дребезжание трамвая, в визг ребятишек у фонтана вплетался далекий воскресный звон колокола. Он то пропадал в городском шуме, то снова возникал.

Прасковья Матвеевна пошла на звон колокола, и ей казалось, что вся эта жизнь с детскими колясками, с трамваями, с запахом проехавшей мимо машины оставляла ее. Ей хотелось крикнуть людям, что она уходит. Проститься. У входа в собор она раздала нищим старушкам всю мелочь, что была в карманах. Служба еще не началась. В соборе было сумрачно, просторно. Гудел колокол под

сводом, мерцали свечи, пахло воском, и где-то за ее спиной позвякивали деньги. Прасковья Матвеевна оглянулась. За прилавком сидел маленький человек в очках, а рядом лежала горка тонких свечей. Впереди кто-то в темном, укутанный в платок, встав на колени, молился, припадая лбом к каменному полу.

Прасковья Матвеевна озиралась по сторонам. Ее поразило, что где-то рядом с ее жизнью существует этот чужой, забытый мир. И вдруг она увидела: в нише перед большой иконой стоял со старчески-молитвенным выражением лица Николай Арсеньевич и рассыпал по груди щепотью мелкие крестики. Она опешила. Ей хотелось тотчас незаметно уйти, но он уже увидел ее. Прасковья Матвеевна медленно пошла к выходу.

Николай Арсеньевич вышел за ней и надел свою старую ушанку. Благостное выражение стерлось с его лица, он посмотрел на Прасковью Матвеевну встревоженно.

Нищий, в короткой шинели, в шерстяном шлеме, протянул к ним руку. Николай Арсеньевич поспешно положил несколько монет в его ладонь.

Не закрывая ладони, тот проговорил:

— Серебро — слезы... Уж лучше б медь...

Прасковья Матвеевна дала ему рубль.

Когда он отошел, Николай Арсеньевич проговорил:

— Дума — за горами, а смерть-то — за плечами.— Щеки ему подрумянило морозом, и Николай Арсеньевич помоложавел.

— Издалека к смерти примериваешься, Арсентьич.

Они молча постояли на паперти, и, только отойдя немного, Николай Арсеньевич встревожился: как же так? Почему это Прасковья Матвеевна не в цехе?

Дуся мыла пол в коридоре, когда раздался звонок. Она разогнулась, бросила тряпку в ведро с водой и пошла открывать.

— Ой, мама! — она отступила, убирая выбившиеся из-под платочка волосы, размазала грязь на лбу.

— Принимай! — сказала Прасковья Матвеевна и шагнула в коридор.

В галошах на босу ногу, с подоткнутой юбкой, Дуся на секунду замерла в смущении и тут же живо принялась отвязывать фартук.

— Да ты кончай свое дело.

— Вы раздевайтесь, пожалуйста, мама. Скоро Федя подойти должен.— Дуся, смущаясь и забегаая вперед, подвела ее к двери в комнату.

— Здесь мы живем,— сказала она.

Прасковья Матвеевна окинула взглядом комнату,

Дуся торопливо водила тряпкой по полу в коридоре и приговаривала:

— Вот я сейчас...

Прасковья Матвеевна стояла в раскрытой двери комнаты и смотрела, как, подгоняемые Дусиной тряпкой, к порогу бежали темные струйки воды.

Наконец Дуся покончила с мытьем пола, убежала на кухню, ополоснула под краном руки и лицо и вернулась раздумывая. В ее отсутствие Прасковья Матвеевна еще раз оглядела комнату. Неказисто. Тесно. «Ну-ну. Хотят сами. Хотят по-своему. Им виднее,— терпеливо сказала себе.— Им жить».

Дуся возбужденно хлопала дверкой книжного шкафа, где на свободных полках у нее хранились посуда и продукты. Как назло, ничего хорошего, чем бы угостить свекровь, первый раз за все время навестившую их, не было. Смущаясь, она поставила на стол покупное варенье.

— Ты не суетись. Брось это. Ты сядь.

— Ну, что вы,— сказала Дуся и послушно села.

Прасковья Матвеевна разглядывала ее, как будто видела впервые, и Дусе неловко было под ее взглядом.

— Что же ты...— Прасковье Матвеевне хотелось сказать Дусе, что родить пора, но побоялась обидеть. Она подумала, что теперь уж не дожидаться ей. «Ну, все, все»,— сказала она себе.

Дуся не поняла, что хотела сказать ей свекровь, но чувствовала, что ничего плохого, и волновалась, понимая, что теперь конец их размолвке.

Занять свекровь разговором она не умела, и Прасковья Матвеевна тоже не заботилась об этом.

— Тебе в ночь идти?

— Да.

Хлопнула входная дверь.

— Федя! — радостно с облегчением сказала Дуся.

Федор открыл дверь в комнату и остановился, просияв.

— Ну ты, мать, молодец! — Он растопырил руки, обнимая ее. Дуся засмеялась и убежала на кухню.

— А собственно, с чего ты не на работе? — весело спросил он.

— Бланку выдали, вот и гуляю.

Он спросил, что с ней.

— Да так, ерунда! — Она махнула рукой.

Дуся принесла сардельки с макаронами. Подала чай.

— Ну, чего ты не ешь? — обижался Федор на мать.

Мать показалась ему какой-то странной, не похожей на себя — но это лишь на мгновение. Ему было радостно, что она пришла, помирилась с ними.

— Ну, ладно,— сказала, подымаясь, Прасковья Матвеевна.— Дусе поспать надо перед работой.— И стала собираться, повязалась низко белым платком. Федор тоже оделся, пошел проводить ее.

На улице мать взяла Федора под руку. Стемнело. Ветер улегся. Поутих городской шум. Встречные машины выбрасывали длинные столбы света.

— Работы сейчас, мать, невпроворот. Прибор-то вот-вот сдаем.

— Федя! — Она поправила платок на лбу, подняла его повыше.— Я, сынок, заболела.

— Что с тобой? — Он испуганно наклонился к ней.

Прасковья Матвеевна вздохнула.

— Ничего. Со всяким бывает.

Федор настоял, чтобы Прасковья Матвеевна села в стоявшее у тротуара свободное такси, и сам сел с ней рядом. Машина тронулась. Федор обнял мать, и она прижалась к нему. Навстречу летели огни фонарей, машин, семафоров. Проехали железнодорожный мост. Теперь с каждым рывком машины все ближе, все виднее корпуса комбината; огромные, залитые светом, они показались Прасковье Матвеевне праздничными.

Прасковья Матвеевна вспомнила, какой был мрак в войну, как мечтали, дождаться б такого дня, когда снимут затемнение, и как наконец этот день настал... «И все человеку мало,— думала она.— Все еще чего-то хочется». И душившие ее весь день слезы поползли по щекам.

**18** Карнаухова вызвали в райком к первому секретарю. Сколько раз он подъезжал сюда на машине, хлопал дверцей и входил в здание в состоянии приподнятости. Здесь больше, чем где-либо, он чувствовал, что нужен и что готов к любому заданию, которое поручат ему.

Он окунулся на минуту в деловой говорок коридора. С ним здоровались шутливо-почтительно:

— Привет меланжистам!

Он пожимал руки. У толстого человека в просторном хорошем пиджаке спросил:

— Что же это ты всюду ходишь, интригуешь против нас? Десять атмосфер не хочешь давать?

— А как же от вас отобьешься? — засмеялся директор ТЭЦ.— Да я вас знаю, вы свое все равно получите.

Секретарша с обычной приветливостью сказала:

— Пройдите.

Карнаухов никогда долго не задерживался в приемной.

Бесшумно ступая по ковровой дорожке к знакомой, обитой клеенкой двери, он знал: за дверью — рубеж. Он догадывался, для чего его вызвали. Это можно было понять даже по тону, каким говорила с ним сегодня по телефону секретарь райкома Анна Сергеевна. Карнаухов был встревожен, но по его бугристому лицу не сразу прочтешь, что он думает.

— Здравствуй, Анна Сергеевна,— непринужденно сказал он и удивился, что у нее такое же отчество, как у Юльки, как будто сотни раз до этого не называл его.

Анна Сергеевна протянула ему через стол руку. Белая вставочка на темном шерстяном платье придавала ее серьезному лицу миловидность.

— Присаживайся, Александр Егорович.— И, не взглянув на него, что-то записала себе на календаре.— Как хлопкокрасильный?

Он сел и назвал процент выполнения плана, отметив про себя ее необычную с ним сухость. В груди неприятно засосало.

— Узкое место комбината. Пока не вытянете с оборудованием в цехе, всегда будут возможны срывы.

Анна Сергеевна спросила, как с новой техникой, выполнен ли приказ министра. Отвечая, Карнаухов видел: она не слушает. Не раз уже они разговаривали об этом, и Анна Сергеевна знала обо всем, что делается на комбинате. «Умная баба»,— с удовольствием отмечал раньше Карнаухов про себя. А сейчас, сознавая это, настаивался, точно измерял ее силы в борьбе с ним.

Он откинулся на спинку стула.

— Автокары еще нужны... Помоги, Анна Сергеевна, через обком.

— Ну что ж, поможем.

Разговор не налаживался.

— Что я покажу тебе сейчас,— обрадованно сказала Анна Сергеевна и, нагнувшись, выдвинула нижний ящик стола.— Гляди-ка.— Она протянула ему книгу в тисненном золотом переплете.— «Мир приключений». Первый том получила. А ты подписался? Что же ты? Для дочки удовольствие.

Карнаухов подержал книгу, вернул ей.

— Слушай, Александр Егорович, что-то нехорошо о тебе говорят.

Она сказала это, пряча книгу в стол.

«Вот оно»,— подумал Карнаухов. Он видел, как ей трудно и неприятно говорить об этом.

— Говорят, у тебя с секретаршей ненормальные отношения. Что это ты голову потерял? Правда это?

Карнаухов глядел на карандаш, который она быстро вертела в пальцах.

— Чепуха. Бред,— наконец выговорил он.

— Значит, ничего и не было?

— Нет, конечно.

За стеклом по оконному карнизу ходили сизые голуби. Карнаухов смотрел на них, повернувшись вполоборота к окну и обхватив рукой спинку стула.

— Так, значит, чепуха это? — сказала она с облегчением и тоже проследила за голубями.— Ну, так исчерпали?

Карнаухов пожал плечами.

— Ты извини, Александр Егорович. Длинные языки. Болтают. Поговорили снова о комбинате.

Анна Сергеевна вышла из-за стола, проводила его к двери.

— С автокарами постараемся помочь. Так что ты не беспокойся,— крепко пожала ему руку.

Карнаухов быстро шел по коридору, взволнованный, четкий и собранный. Требуйте с него работы, выполнения плана, пошлите куда угодно, если считаете нужным. А этого не трогайте, не касайтесь.

Он не искал Юльки, она свалилась в его жизнь, как стихийное бедствие. Оступился. Ну что ж, с кем не бывает. Раньше, правда, он так не рассуждал, но теперь кое-что в его понятии сместилось. Главное, что покончено с этим.

Он мысленно сопоставлял свою жену и Юльку, и ему было приятно, что это сопоставление явно в пользу жены. С одной стороны — авторитетный человек, уважаемый педагог, член партии, с другой — Юлька с ее незадавшейся жизнью.

Он охотно вспоминал о том, как они с женой, познакомившись, сразу почувствовали, что нашли друг друга,— так много общего было у них. Это случилось в госпитале, где он лежал после ампутации руки и куда жена приходила читать раненым «Войну и мир».

Он ценил в жене то, что у нее свое дело. Это и ему прибавляло уверенности в себе. И вдруг Юлька... Ну, теперь покончено с этим.

Карнаухов думал о том вечере, когда она в последний раз была у него. Что ж все-таки произошло? Его вздумала поучать Юлька, человек, который всегда был, так сказать, на периферии жизни.

Он не сомневался: в том, что произошло у них с Юлькой, Волков — лишь повод. Просто они настолько разные, далекие друг другу люди, что Юльке никогда не понять Карнаухова, его устремлений, всей его жизни... Ну что ж, тем лучше, что покончено...

Но проходил день-другой, и он думал и тосковал о ней.

На работе, если он был занят, когда Юлька входила в кабинет, он строго и отчужденно говорил: «Обождите!»

Но дома он вздрагивал от каждого звонка в дверь и, замирая, ждал чего-то, хотя знал, что она не придет.

Она сидела здесь у стола, листала этот старый «Огонек», ходила по комнате, смотрела в окно. Да было ли это на самом деле? Ее небрежный, готовый вот-вот рассыпаться пучок, ее походка, скользкая, носками внутрь, ее лицо, покатые плечи и губы, твердые, холодные губы, неотступно стояли перед ним.

Раньше он жил, не замечая своего одиночества. Теперь одинокие вечера в комнате пугали его. Он задерживался на комбинате, колесил по улицам. У себя в комнате листал старый «Огонек».

Он перестал отвечать на письма жены. Несколько раз пытался написать ей, но ничего не получалось. Как же так? Не задумывался об этом раньше, но всегда считал: они близкие люди, семья. А сейчас точно наткнулся на что-то жесткое, чужое в ней.

Под утро он просыпался и, лежа без сна, ждал рассвета и слышал наконец, как на соседней улице звенел первый трамвай и дворники ударяли скребками по заледенелому снегу. Мир вдруг опустел, и огромная, неизвестная прежде Карнаухову пустота ошеломила и давила его.

Он всегда напряженно работал. Жил с сознанием — ты нужен! Ты — на виду! Ты — винтик великого механизма. Одна мера у него в жизни, одно честолюбие, один пафос — нужен!

«Чепуха, бред», — смело сказал он в райкоме. Он не сомневался: от Юльки никто ни о чем не узнает. Никто не сможет уличить его. Он произнес всего два слова: «Чепуха, бред» — и отрезал себя от того, чему принадлежал. Ведь он смотрел в глаза секретарю райкома и лгал. Он солгал партии.

Прошла неделя, и Карнаухов снова появился в райкоме, потускневший, измученный тревогой.

Анна Сергеевна обрадовалась ему.

— Объясни ты мне, Александр Егорович, как это у чехов капля воды заменяет челнок, — накинулась она на Карнаухова, протягивая ему газету. — Вот, оказывается, у кого нашим текстильщикам поучиться надо. А? Какая же это могучая сила — опыт стран социалистического лагеря!

Карнаухов сел и положил на стол газету.

— Анна Сергеевна, прошлый раз ты спрашивала, какие у меня отношения с техническим секретарем парткома...

— Да нет, Карнаухов, это товарищи с комбината болтали безответственно. Длинные языки. Извини меня.

Карнаухов взял из пепельницы обгоревшую спичку, переломил ее, помедлил и коротко рассказал обо всем.

Он не каялся, и Анна Сергеевна не укоряла его за неискренность в прошлый раз. Она встревоженно и с интересом взглянула на Карнаухова, приготовившись выслушать его. Но Карнаухов замолчал.

— Но теперь с этим покончено? Ведь так надо понимать?

Карнаухов хотел объяснить ей, что сам не знает, как все это с ним случилось... И потом этот страшный гнет на рассвете. Испытывала ли она что-нибудь подобное?..

Он встретился с ясным взглядом Анны Сергеевны и не смог заговорить.

Карнаухов продолжал молчать с каменным выражением лица.

— У тебя ведь семья, дочь,— тихо сказала Анна Сергеевна.— Твой пост...— Она смутилась и не стала продолжать.— Да ты ведь сам все понимаешь...

Прощаясь, она протянула Карнаухову руку, расстроено проводила его глазами до двери.

Карнаухов спускался вниз и, останавливаясь на лестничной площадке, видел в окно заваленные снегом крыши, и на душе у него становилось спокойнее.

**19** В конструкторской группе появился не заглядывающий сюда обычно Коркешин. Он прошел к столу Федора.

— Я минутку у тебя отниму,— и сел, явно чем-то озабоченный. Сцепил пальцы и сказал подчеркнуто: — Жена у Карнаухова, Александра Леонтьевна,— прекрасная, порядочная женщина.

Федор посмотрел на него, ничего не понимая.

— Она его к себе прямо из госпиталя взяла. Она его в ванне сама моет...

— Тьфу ты! Ну и что?

— Я к тому говорю: она, когда приезжает сюда, за ним, одно-руким, как за малым ребенком ходит. Член партии, учительница, достойный товарищ...

— Ну и что? Ко мне-то ты чего с этим?

Федор все время не мог ухватить в памяти что-то связанное с Коркешиным.

— Ты же член парткома. И знаю, Барулин, тебя мальчишкой...

— Ну и что?

Коркешин поправлял ремешок часов на руке. Он поднял глаза и, подавшись к Федору, шепотом сказал:

— На кого променял? Понимаешь?

Федор вспомнил наконец — ведь это Коркешин открыл ему тогда дверь и суетился, не пуская к Карнаухову...

— На проходимку, вот на кого!  
Федор стукнул кулаком по столу.

— Иди ты, знаешь, куда!

Коркешин попятился и скрылся за дверью.

Федор не мог успокоиться.

После того как он застал Юльку у Карнаухова, его не раз подмывало подойти к ее столу в приемной парткома, сказать ей: «Утешилась?» — и добавить кое-что похлестче. Но сдерживался — ему-то что? Зато она не будет больше ждать встречи с ним, пялить издали глаза, в общем не будет его искушать. Все ж он клеймил ее: «Бабье. Лишь бы к кому-нибудь пристроиться».

А сейчас Коркешин, обругавший Юльку, нашептывающий какую-то грязь, вывел его из себя. Ну и гад! То спешил угождать Карнаухову, а теперь... На комбинате давно уже работала комиссия райкома партии, но в последние дни вдруг пошли разговоры, что она собирает какие-то материалы на Карнаухова. Вот уже и Коркешин засуетился.

Когда прозвенело в коридоре управления, Федор свернул чертеж, положил на шкаф и пошел к матери. Со дня на день ее должны были положить в больницу, и теперь каждый раз после работы он шел к ней.

К его приходу мать ставила на стол дымящийся пирог.

— Зачем ты возишься? — сердился Федор.

Она улыбалась.

— Времени пустого много.

Мать была другой. Не такая быстрая, порывистая, как раньше, — сосредоточенная, тихая. Вокруг глаз у нее легли темные круги.

Николай Арсеньевич старательно вздувал на кухне самовар, вносил его, и самовар приятно гудел на столе.

Мать подтрунивала над Николаем Арсеньевичем:

— Смотрите-ка — молодец, здоровый мужчина. А душой ослабел — к богу пристраивается. Богомолец!

Он не обижался. С тех пор как стало известно, что Прасковья Матвеевна больна, Николай Арсеньевич был полон забот о ней и легко сносил ее колкости.

Федор видел: мать хоть и воюет со стариком, но дорожит его теплотой, душевностью.

Часто приходили соседка Нина Ивановна, Козлова, Нинка-ФЗО или кто-либо другой из бригады Прасковьи Матвеевны. В комнате шумно, наперебой говорили о комбинате, точно стараясь что-то заглушить шумом голосов.

Говорили и о Карнаухове, о комиссии райкома. Люди понимали: он лишился доверия из-за неблагоприятного поведения, из-за связи с секретаршей.

— Ишь ты, какой умник, хотел рыбу ловить и хвост не намочить, — сказал кто-то.

Прасковья Матвеевна оборвала:

— А мы-то чего глядели? Ведь мы его растили.

Для нее он был молодым членом партии, которого растили люди ее поколения и отвечали за него.

Заступничество матери задевало Федора. Кто это его растил? Таким точно, какой он есть, Карнаухов появился на комбинате.

Раньше Карнаухов в его глазах стоял на недостижимой высоте. Но с тех пор как Федор увидел Карнаухова с Юлькой, он думал о нем с неприязнью, недоверием... Но он не захотел перечить матери и заговорил о другом.

Иногда же в комнате воцарялось молчание, и у всех молча сидевших людей было такое чувство, точно Прасковья Матвеевна должна уехать в какое-то тяжелое путешествие, и нужно удержать ее, и никто не знает, как это сделать, и чувствует свою вину перед ней. В такие минуты Козлова казалась еще более, чем обычно, прямой в плечах. Лицо Николая Арсеньевича светилось добротой и сочувствием. Слышно было, как громко дышит Нина Ивановна.

Прасковью Матвеевну выдавали глаза с затаенной в них мукой. Она первая прерывала молчание:

— Пирог что зря стынет? Давайте чай пить.

В эти дни Федор возвращался домой длинным, окольным путем, по пустырям, чтобы подольше побыть одному. По вечерам сырой резкий ветер пахнул пробуждающейся под снегом жизнью. Уходящий из города по слабому мартовскому снегу наезженный полозьями санный путь пропадал, петляя, невдалеке. Федор думал о матери, о ее простой, без претензий жизни. Он привык брать все женское, не задумываясь, — преданность матери, привязанность Дуси, пылкость Юльки. Каким же маленьким чувствовал он себя сейчас рядом с матерью! Ему хотелось плакать от раскаяния, от жалости к ней. Только бы она была жива.

Он был тяжелодум. Мысли подолгу отстаивались, вызревали в его голове. А сейчас он находился в таком душевном напряжении, что, казалось, прожил целые годы за эти дни.

Он еще раз увидел Юльку в коридоре управления. На комбинате она больше не работала, ее уволили — ведь она занимала фиктивную должность нормировщицы, и Федор, увидев ее снова здесь, от неожиданности растерялся и отвернулся к вывешенной на стенде газете и, будто читая, краем глаза наблюдал за Юлькой. Она шла, не замечая его, задумчиво понуриив голову, своей плавной, скользкой походкой, и с каждым шагом, приближающим ее к нему, Федор ощущал толчки в сердце.

Не дойдя до него, Юлька исчезла в дверях отдела кадров.

Федор шагнул за газетный стенд и, стоя в своем укрытии, ждал, когда она выйдет, и чувствовал, как дрожит пол над отделочным цехом и доносится снизу сладковатый запах крахмала, и ясно понимал, что все это время его не переставало тянуть к Юльке, что он старался и не мог позабыть о ней.

Юлька появилась в дверях.

Она медленно прошла мимо, и он увидел совсем близко ее осунувшееся, грустное, но все еще красивое лицо, хотя и не такое молодое, каким оно было когда-то. Ведь никто из окружающих ее теперь людей не знал, какие у нее были пышные, коротко подстриженные волосы и сияющие, счастливые, совсем молодые глаза. А он знал. Он один. Может быть, ее судьба потому и не устраивается, что ее юные годы прошли на войне. И потому, что на войне она полюбила его, Федора. А он не в состоянии теперь ничем помочь ей, ничего изменить в ее жизни, потому что его собственная жизнь пошла другим путем и он никогда не смог бы бросить Дусю.

**20** Комиссия райкома заканчивала свою деятельность на комбинате: Карнаухов был уверен, что за работу парткома ему не придется краснеть. И все же он нервничал, иногда против воли думал: если бы он тогда в райкоме сказал Анне Сергеевне, что с Юлькой покончено навсегда, наверное, не было бы никаких последствий. Но он не стал этого делать. Не смог.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь. Но ни с кем у него не было дружеских отношений. Раньше он даже находил в этом удовлетворение, особенно при разборе какого-либо дела, — он был вне личных отношений, вне симпатий и антипатий. Единственный человек, с которым он мог бы поделиться, был член парткома Лобанов, экономист с ткацкой фабрики.

Лобанов, как никто, любил Карнаухова. Любил его за темперамент, за силу, за то, что Карнаухов воевал, в то время как он, Лобанов, пользовался броней. Любил его, наконец, за то, что он оценил его, Сергея Петровича Лобанова, скромного работника, и сам выдвинул его в партком.

Карнаухов знал: если бы они посидели и он рассказал бы ему о Юльке, тот все понял бы. Но Лобанов, встречаясь с ним, был расстроен, не смотрел в глаза и избегал оставаться наедине.

Но неожиданно Лобанов сам явился в кабинет к Карнаухову.

— Мне надо поговорить с тобой, Александр Егорович...

Он был бледен, встревожен, и решительный тон так мало шел ему.

— Это ведь потеря своего лица, лица коммуниста...

Карнаухов побледнел, брови его сошлись на переносице. Лобанов хотел продолжать, но запнулся и протянул Карнаухову вчетверо сложенный листок.

Карнаухов развернул и узнал аккуратные круглые буквы. Жена писала о том, что он всегда был прекрасным мужем и отцом и они горячо любили друг друга и жили «душа в душу»...

Он остановился и перевел дух. Он изумился заключенной в письме неправде, или ханжеству, или убогому представлению о любви... Ведь у них с женой даже не было потребности жить вместе, и она так и не решилась уехать с ним из родного города, оторваться от привычной обстановки, от своей школы. Но и на этот счет имелись в письме рассуждения. Ей говорили, писала она, когда жена и муж подолгу живут в разлуке, их семья под угрозой. Но она-то считала: ее муж не такой, как все, его не коснется пошлость. В том, что теперь произошло, она целиком винила Юльку. Она называла ее «эта особа», «эта опутавшая его особа». В заключение жена обращалась в партком с просьбой вернуть ребенку отца.

Аккуратно выписанные буквы и гладкий слог письма глубоко возмутили Карнаухова.

Он взглянул на сидящего перед ним Лобанова. На добром лице Лобанова было написано, как он ошеломлен, запутан. Он встал и принялся ходить вдоль длинного стола заседаний, задевая за стулья.

«Чего он так вырядился?» — нервно подумал Карнаухов. На Лобанове был темно-синий костюм, который он надевал лишь на вечера в праздники.

Лобанов начал, путаясь, робея, потом немного успокоился, окреп и наконец заговорил внушительно, громко, будто перед ним был не один Карнаухов, а целая аудитория.

Лобанов говорил о том, что он пренебрег своим гражданским и семейным долгом, забыл о коммунистической морали... Эти привычные формулы глушили в Карнаухове готовое подняться возмущение. Может быть, он должен пройти через это. Может быть, так надо. Такие же обвинения и он не раз бросал другим. И теперь должен был пройти через это сам.

Но он не выдержал.

— Фальшь это. Сергей Петрович. Пойми же, дорогой, фальшь.— Он ткнул пальцем в лежащий перед ним листок и, торопясь, сбивчиво, горячо заговорил о том, что понял сейчас, читая письмо жены.

Лобанов холодно перебил:

— Тебе крепко задуматься надо. Ведь что ж получается? Две дисциплины...

Карнаухов тихо, возбужденно барабанил пальцами по стеклу. То, что сейчас происходило здесь, казалось недоразумением.

— Сергей Петрович! — проговорил он, тяжело дыша. — Да что ты знаешь, чтоб так судить!

Лицо и шея Лобанова покраснели, он просунул палец за воротничок и неловко потер шею, обдумывая, что сказать.

— Я знаю одно...

— Какого черта! — крикнул Карнаухов и задохнулся от волнения. С грохотом отодвигая тяжелое кресло, он встал, быстро, не глядя, собирал одной рукой бумаги на столе и уже сдержанно, сдавленным от волнения голосом говорил: — Да прекрати ж ты в конце концов. Какого еще черта тебя слушать!

**21** Юлька по-прежнему жила у Волковых, тратя выплаченное ей выходное пособие.

Леша был с ней подчеркнута обходителен, давая Юльке понять, что считает ее жертвой одиночества и притязаний Карнаухова. Маруся, конечно, полностью была согласна с ним. Она осторожно, на цыпочках, двигалась, будто в доме тяжелобольной, шикала на детей. Заглядывала в комнату:

— Юля, чайник поспел. Одной пить — безо всякой охоты.

В кухне за чаем она, как умела, занимала Юльку разговором:

— Знаешь, сколько возни с ними? — говорила она о детях. — Из роддома приедешь, как их жалеешь, как жалеешь! Чуть заплачет, так бы и не отходила. Беспокойно.

На шкафу поблескивал самовар, полуприкрытый салфеткой. По вечерам что-то щелкало, словно рассыхался шкаф или старая посудная горка. Сонный Генька, занятый любимым делом, расставлял на клеенке шахматы.

Юлька думала о том, что у нее нет детей, нет забот о них, может быть, поэтому ее жизнь так неустойчива и она не стремится к порядку. Но бытовые невзгоды не угнетали ее, она легко их переносила и неопределенность своего положения также.

Рано утром, когда гудело на комбинате, Юлька просыпалась, слышала, как поднимается Леша, и ее тянуло в большой бодрый поток людей, спешивших к проходной. Но гудок теперь не имел к ней никакого отношения. Она оставалась дома и могла сколько угодно думать о том, как жить дальше, или предаваться воспоминаниям. Она часто вспоминала о фронте. Все плохое, все невзгоды забылись, а воспоминания о том, как спали на столах или как в стужу в лесу снегом заправляли котлы, трогали ее до глубины души.

Однажды, когда она лежала на кровати, укрывшись пальто, кто-то вошедший с улицы спросил знакомым голосом про нее. Юльке по-

казалось, что она ослышалась. Она сбросила пальто и села на кровати.

Распахнулась дверь, и в надвинутой на брови котиковой ушанке, с поднятым воротником пальто — левая рука втиснута в карман — на пороге встал Карнаухов. Из-за его спины выглянуло встревоженное, любопытствующее лицо Маруси, и дверь снова закрылась.

— Здравствуй! — Он никогда здесь не был и быстрым взглядом окинул комнату: этажерка, на стене платья под кисейной занавеской, в кадке на полу фикус...

Юлька снова легла, прикрывшись пальто, зябко поджав колени. Хлопнула дверь в кухне. Должно быть, Маруся куда-то вышла. Они одни остались в доме.

— Дело в том... — сказал Карнаухов. Шапка, и поднятый воротник, и плечи его пальто были припорошены снегом, и казалось, он добирался сюда издалека. — ...в конторе горстроя есть место нормировщицы.

Юлька лежала на подушке, подсунув под щеку ладонь. С розовой ситцевой наволочки на Карнаухова смотрело ее побледневшее грустное лицо.

Он сел на единственный стул, не снимая шапки, не опустив воротника пальто.

— Я считаю, тебе следует обратиться в контору.

— Зачем?

Стукнула дверь, послышались тяжелые шаги, и вслед за тем загромыхали о пол поленья — Маруся вернулась с дровами.

Юлька приподнялась на локте, волосы упали на спину. Она поднесла руки к затылку, собирая в пучок волосы.

Карнаухов следил за знакомым движением ее рук, видел ее тонкую шею, которую то закрывали, то снова открывали двигавшиеся руки, и сердце у него часто и сильно стучало.

— Непонятно — зачем? — сдержанно сказал он и отвел рукой лист фикуса, уткнувшийся ему в лицо. — Ты что же, не собираешься работать?

Юлька пожала плечами:

— Не знаю.

— Кто же знает? Нельзя ж без работы.

— Что вы-то переживаете, волнуетесь. Я сама решу.

Его покорило это «вы». Он пошарил в карманах, достал пачку «Беломора», но закуривать не стал.

— Что ж дальше собираешься делать?

— Дальше? — Она села, свесив ноги в чулках, зябко кутаясь в пальто. — Дальше — некуда. Достукалась.

— Глупости! Надо работать. Нельзя опускаться, — сказал Карнаухов.

Юлька никогда не видела у него таких усталых глаз.

За перегородкой Маруся зашептала вернувшемуся из школы Диме:

— Валенки очисти! Ох, наказание!

Юлька почему-то сейчас вспомнила, как в первый раз увидела Карнаухова, когда приходила насчет работы. А потом вдруг потянулась к нему... Из-за одиночества его или потому, что поняла: он живет не для себя, не думает о себе. Или еще почему-то.

— Как ты живешь? — спросила она вдруг.

Карнаухов едва заметно усмехнулся и снова старательно отвел рукой мешавший ему лист фикуса.

— Нормально, — холодно сказал он.

Оба с минуту молчали. Юлька смотрела в окно не то задумчиво, не то безучастно.

— Так как же? — терпеливо, настойчиво спросил Карнаухов. — Сходишь в горстрой?

Юлька вспыхнула:

— Да что обо мне! Ты лучше думай, как себя спасти, покаяться!

Он поморщился. Зажег спичку, прижимая коробок к колену. Молча выкурил папиросу, ни разу не повстречавшись с Юлькой взглядом. Потом встал — такой же прямой, с поднятым воротником драпового пальто, в ушанке, низко надвинутой на брови, каким вошел сюда. Только снег на шапке и на пальто давно растаял.

— До свидания!

Она вдруг представила себе, как по утрам он долго, терпеливо возится со шнурками ботинок, завязывая их одной рукой.

— До свидания, — сказала она.

Он шел по поселковой улице с засунутой в карман пальто рукой. А кое-где из окон следили за ним любопытные глаза — впервые его увидели здесь и недоумевали: среди бела дня, без стыда, Карнаухов возвращается от нее.

**22** В тот день когда на заседании парткома комиссия должна была сообщить об итогах проверки, Карнаухов встал, как всегда, в половине восьмого, оделся и курил у окна, держась рукой за подоконник.

Хотя вопрос касался работы парткома, но Карнаухов знал, что обсуждению подвергнется его личное поведение.

Он сел к столу, потом встал, ходил по комнате. «С девятнадцати лет я состою членом партии...» И эти слова, обращенные мысленно к тем, кто будет судить его сегодня, волновали Карнаухова до глубины души. Дальше он не мог сдвинуться.

Когда его принимали на заводе в партию, старый клепальщик дядя Устинов сказал: «Саша Карнаухов не уронит чести. Можно не сомневаться...»

Нет, он не ронял ни разу. Никогда не искал ни покоя, ни поблажек для себя. Шел туда, куда посылала партия. И тянул что было сил. Если случалось заболеть, он, не вылежав, выходил на работу. Когда умер отец, он не поехал хоронить его — не мог оставить комбинат на несколько дней по личным нуждам.

Двадцать лет прошло, как один большой напряженный рабочий день.

Осенью сорок первого завод, на котором он был секретарем парторганизации, эвакуировался из Москвы. А он сдал дела своему заместителю и ушел в ополчение — оборонять Москву.

Должен был уехать с заводом, но не смог...

Карнаухов никогда не ставил себе этого в заслугу. Само собой разумелось: если война — значит, он на фронте. Но сейчас он хватался за все. В том, что тогда в сорок первом, он не мог поступить иначе, была кровная связь его с тем, от чего его, быть может, захотят оторвать. Нет, его не так просто списать. С ним так нельзя.

Но сердце ныло, было похоже на то, что его захватили в горсть и мнут. Карнаухов ходил по комнате, готовился: «С девятнадцати лет я состою членом партии и ни разу...» Дальше не шло.

Он вспоминал Лобанова. Его натянутую, неестественную позу, стремление быть официальным и при этом неожиданную развязность, в которой тот даже не отдавал себе отчета.

Потом он снова думал о том, что Юлька была на фиктивной должности, и об этом теперь говорят на комбинате, а также о том, что у нее просроченный комсомольский стаж. И что эти факты, так резко направленные против него, на самом деле несколько не проливают свет на случившееся. И неужели никому, вот так же как Лобанову, в голову не приходит, что это не пошлая связь? От предчувствия несправедливости в душе у Карнаухова поднималась гнетущая обида.

О чем бы он ни думал, перед ним все время назойливо возникало лицо Федора Барулина, и Карнаухову было особенно тяжело и неприятно, что Барулин тоже будет судить его. С тех пор как Барулин застал у него Юльку, Карнаухов чувствовал его затаенную враждебность, настороженность по отношению к себе и приписывал это ревности. Он и сам избегал лишней раз разговаривать с ним — ему неприятно было видеть человека, из-за которого Юлька оказалась в Николове.

А сегодня Барулин под видом принципиальности может сколько угодно давать волю затаенным страстям.

Карнаухов делал усилие, чтобы думать о чем-нибудь другом.

И он вспомнил почему-то, как учеником шестого класса был избран делегатом на районную пионерскую конференцию и в первый же день наелся в буфете рыбы и потом валялся дома в жару с обмотанным материным шерстяным платком животом и безутешно плакал оттого, что без него заседает конференция.

Когда он снова очутился у окна, солнце заливало улицу. Он заметил, что снег отступил с мостовой и лежал на бульваре, почерневший. Мимо мчались машины, катя перед собой по сухому асфальту свои огромные тени.

Карнаухов вспомнил: надо успеть до работы побриться — и обрадовался, что есть занятие.

С утра в этот день Федор не пошел на работу — перевозил мать из больницы домой после операции. Вместе с Николаем Арсеньевичем они ввели мать в комнату, поддерживая ее под руки, помогли ей снять пальто и платок. И мать, похудевшая, сильно изменившаяся, осторожно, неуверенно прошла по выстиранным половикам — Дуся и соседка Нина Ивановна два дня прибирались, готовились к ее возвращению.

Прасковья Матвеевна молча постояла у окна — черные ветки куста скреблись о стекло, гудела лесопилка, а по залитому солнцем небу вдалеке тек дым из высокой трубы ТЭЦ.

Потом она, обернувшись, молча обвела взглядом стены в комнате — скорбящую Аленушку в ореховой рамочке, старые часы в поеденном кое-где древоточцем футляре, — точно посторонняя всему этому.

Николай Арсеньевич вытер лицо платком и снял шапку.

Прасковья Матвеевна переставила на буфете чашки, потрогала салфетку, связанную ею самой когда-то очень давно.

Федор тихо сказал:

— Ты ляг, мать, а то развоевалась чего-то.

Мать послушно отошла от буфета. Она осторожно, с опаской усаживалась на постель, держась за шею нагнувшегося над ней Федора.

— На что я тебе, Арсентьич, сдалась — хвороба?

Николай Арсеньевич, расшнуровавший на ней полуботинки, присев у кровати на корточки, поднял голову в разлохмаченном венчике пушистых волос, улыбнулся:

— Сам не знаю, чего я прилип к тебе, как слепой к тесту.

Пришел Леша. Осторожно подержал руку Прасковьи Матвеевны, тихо приговаривая: «Тетя Паня, тетя Паня» и «С благополучным вас возвращением».

— Сядь, Леша, сядь, дорогой.

Он пододвинул к ее кровати стул, уперся ладонями в колени, плечи его остро приподнялись. Разговор сразу не налаживался. Леша хмурился, точно винясь перед больным человеком в своем здоровье и благополучии.

— Что смотришь так? Страшная стала?

— Да ну, что вы придумываете, тетя Паня.

Прасковья Матвеевна нащупала ключицы у шеи.

— И правда, как крючья торчат, хоть хомуты вешай.

— Чего ж тут удивляться? — озабоченно вставил Николай Арсеньевич. — Человек, можно сказать, из-под святых встал.

— Да ну, ладно. Об чем заладил. Ты, Леша, лучше расскажи, что нового.

Леша заговорил о цехе. Прасковья Матвеевна приподнялась на локте, оживилась, точно ей, как воздуху, не хватало самих слов: бобина, пряжа, веретена. Она смеялась, держась рукой под грудью, и расспрашивала обо всех.

Федор, молча сидевший на постели у матери, смотрел на нее.

Он провел рукой по одеялу, и мать показалась ему непривычно маленькой, у него больно защемило в груди.

— Тебя, Леша, народ в цеху ценит за твою старательность. — С тех пор как у Леша произошли неприятности, мать всякий раз старалась вернуть об этом.

Леша покраснел — не мог скрыть удовольствия.

Федор подумал, что мать и Леша чем-то очень похожи, вроде Леша, а не он, ее сын.

— Сегодня у Карнаухова трудный день — вечером комиссия доложит об итогах проверки, — грубовато сказал Федор. Он сам нервничал перед предстоящим заседанием.

Мать посмотрела на него.

— А вы что же? Если б вы его раньше ругали, калили по заслугам. А раз вы ему в рот смотрели да согласно кивали, тут человеку недолго ошибиться. Не устоит, какой бы умный ни был.

Николай Арсеньевич не понимал, о чем говорят, он был в стороне от дел и слабо помнил, кто такой Карнаухов, но все ж таки он вставил:

— Спорщик в любом деле дороже потакалы.

Федор подумал, что мать ведь сама сердилась на Карнаухова за Лешу, а теперь вот чего-то расстраивается...

Николай Арсеньевич сел у покрытого белой скатертью стола, почесал в ухе — к вестям, что ли? — вздохнул обыденно, разгладил образовавшуюся в спешке от утюга складку на скатерти и прислушался, о чем говорит Прасковья Матвеевна. Он любил ее слушать. И ему было уютно оттого, что она дома и опять разглагольствует, поучает всех,

— На таком посту человек, а споткнулся,— с огорчением сказала она.

Федор слушал мать и с детским страхом в душе чувствовал, что ее жизнь, такая щедрая, самоотверженная, полнокровная, пошла на убыль.

— Обо всем ты, мать, думаешь. А я вот не успеваю,— раскаянно сказал он.

— Где уж тебе,— со значением сказала мать,— у тебя дела поважнее.

Все улыбнулись, услышав, как она по-прежнему задирается.

Федор возбужденно провел рукой по голове. Николай Арсеньевич изучал какой-то листок, держа его на вытянутой руке.

— В два часа, значит, манная каша.

Прасковья Матвеевна возразила:

— Разве это еда для рабочего человека?

— Не еда,— поддержал Леша.

— Что ж поделаешь,— примиренно сказал Николай Арсеньевич.— Теперь воздержаться сколько-то придется. Ведь на поправку только еще пошла...

— Ты меня, что ли, вымолил? — спросила Прасковья Матвеевна.

Федор и Леша засмеялись. Николай Арсеньевич подумал, что Прасковья Матвеевна, пока жива, спуску ему не даст, и, повеселев, скомандовал:

— Расходись, ребята. Для начала человеку покой нужен.

**23** Юлька давно пришла к подъезду дома, где жил Карнаухов. Еще светило солнце. На подсохшем тротуаре, исчерченном мелом, девочки играли в классы. У одной из них на голове была фетровая красная шляпа с зубчатыми краями. Юлька подумала: точно такие зубчики мама вырезает у бумажных салфеток на полки в кухне. Другая девочка, поменьше ростом, в косыночке, прыгала азартно на одной ноге, ловко подталкивала камушек, и из-под пальто у нее спускалось синее трико на ослабевшей резинке.

Юлька наблюдала за девочками — вот уже подросло новое поколение, а она сама, казалось ей, еще не жила.

Потом девочки заспорили, и та, что в красной шляпе, дернула другую за рукав, и девчонка отбежала, высунула от обиды язык и, покрутив животом, подтянула сползшее трико.

Они снова прыгали и ссорились, пока из окна их не позвали домой.

Тротуар опустел. Ручейки еще бежали, а солнце спряталось, и Юлька поглядывала в конец улицы, откуда должен был показаться

Карнаухов, и думала о том, как быстро идет время, и скоро Лидия Родионова приедет опять на семинар работников системы ВОС.

Стало сумрачно, как перед дождем, темнел сквер справа от дома. Двое парней остановились у ворот, к ним подошел третий, потом еще один вышел со двора и тоже присоединился к ним. Они курили, сплевывали, громко разговаривали и посматривали на Юльку. Карнаухов все не шел.

Юлька подумала о Волковых, и ей стало грустно от предстоящей разлуки. Так же будет Леша выходить с папиросой на крыльцо, с которого хорошо видны корпуса комбината. И Маруся будет все так же весь день напролет хлопотать. А где в это время будет Юлька, что будет с ней?

Подул сырой ветер, и Юлька сразу продрогла. Она быстро ходила взад-вперед мимо подъезда. Всякий раз, когда она шла в обратную сторону до последней водосточной трубы дома, ей казалось — вот сейчас обернется и увидит Карнаухова, узнает о решении комиссии и пойдет своей дорогой к Марусе и Леше. Но Карнаухов не шел. Юлька терпеливо ждала и поглядывала время от времени на темное окно карнауховской комнаты.

Прогудело на Большой мануфактуре. Парни разошлись. Кошка выглянула из парадного, осторожно понюхала воздух и метнулась в подворотню.

Сколотый черно-белыми ломтями слежавшийся снег был свален в палисаднике. У ворот стояла лужа воды, и Юльке приходилось с усилием переступить через нее, когда она шла в одну сторону, и еще раз, когда возвращалась.

Так шло время. Юльке вспоминалось, как она приехала в Николово и вот так же поздно вечером ждала Федора. И ей тогда казалось, что без него нет для нее жизни. Как давно это было!

Пошел снег. Все снег да снег — такая уж зима задалась. Сначала мелкий и быстрый, он утих на минуту и потом повалил большими мокрыми хлопьями. Наверно, в последний раз в этом году. Снег шлепался на мостовую, на разрисованный мелом тротуар, таял в большой луже у ворот. Мокрые хлопья залепляли лицо. Юлька спряталась в подъезд, но там было темно, и она снова вышла на улицу и стояла спиной к ветру, уткнувшись лицом в цигейковый воротник.

Напротив из ворот вышла на дежурство женщина-дворник, заложив руки за белый фартук. Милиционер, прохаживающийся здесь же, на посту у сберкассы, остановился и завел с ней привычный ночной разговор, уставясь на ее большие валенки в галошах.

Начиналась ночь, и улицы были пустынные, когда Карнаухов возвращался с заседания парткома. Затормозивший на повороте трамвай пронзительно звонил, вызывая уснувшую стрелочницу. Быстро падал мелкий сырой снег, проезжавшая изредка машина тянула за собой шинный след по присыпанной снегом мостовой.

Сырой, пробирающий насквозь ветер дул навстречу. Вскоре снег начал валить мокрыми хлопьями. Карнаухов поднял воротник пальто.

Он не мог прийти в себя от пережитого. Ему необходимо было понять, что же произошло.

Обгоняя его, шли гурьбой, негромко разговаривая, рабочие со смены, отпечатывая подошвы на слабом снегу. Карнаухов машинально ступал в их следы, и что-то давнее припоминалось ему.

Когда провели радио у них в деревне, он был еще мальчишкой; слышав звуки «Интернационала», вскакивал и, если был без пионерского галстука, поспешно завязывал его и стоял все время, пока длился гимн, держа салют. А когда садился, на душе было светло, чисто и мужественно и хотелось отдать жизнь за угнетенных.

Позднее к нему не приходило такое чувство. Но он знал о себе: если надо, он жизни не пожалеет. И работал, не жалея сил. Мог ли он думать, что его осудят сегодня за работу...

Когда он вошел в свой кабинет и увидел Лобанова с усталым лицом, все в том же нарядном костюме, и нахмуренного Федора Барулина, и оказавшегося почему-то здесь Коркешина, тяжелое предчувствие снова сдавило сердце. Он сел со всеми вместе за длинный стол, на него старались не смотреть, но все же косились в его сторону и, если встречались с ним глазами, старательно кивали ему.

Слушая сообщение инструктора райкома, возглавлявшего комиссию, Карнаухов чертил квадратики на листе бумаги, а отрываясь от своего занятия, видел дощечку «Не курить!», свое пустовавшее черное кожаное кресло с залоснившимся правым подлокотником и над ним убегающий вверх по стене синий шнур звонка. Он видел, что сидевший наискосок от него Коркешин не может унять возбуждение; брови его неподкупно приподняты, веки опущены, хребтинка худощавого носа напряженно выделилась. И Карнаухов ждал... Он ждал, когда инструктор кончит говорить о делах парткома и перейдет к вопросу о личном поведении Карнаухова. Хотя он не соглашался с обвинениями, которые вот-вот посыплются на него, но он понимал, что своими отношениями с Юлькой не мог не навлечь на себя неприятностей. Будь на его месте кто-нибудь другой, он бы и сам со всей строгостью осудил его. Ведь вот и Лобанов... Чего ж ждать от остальных?

Карнаухов хорошо знал этого инструктора Бабича, очень высоко-

го, худого, в очках. Он не был красноречив, к тому же плохо выговаривал букву «л», и от этого иногда вдруг казался нерешительным, мягким, но он, как считал Карнаухов, достаточно поднаторел на работе в райкоме. Карнаухов легко разгадывал нехитрое построение его выступления. Вот: наглядная агитация в цехах устарела. Зато тут же отмечает — добились решительного перелома в борьбе с браком. Карнаухов машинально подсчитывал: плюс, минус, плюс. Получалось неплохо. Но ведь не с этой стороны он ждал удара.

Карнаухов всегда в той или иной степени мог предвидеть ход собрания, но сегодня все перевернулось.

Бабич заговорил о приказе министра по поводу плохого освоения новой техники на комбинате и коснулся мер, принятых парткомом еще осенью.

Опять прозвучало осточертевшее Карнаухову имя Волкова. Ему показалась грубой демагогией такая постановка вопроса. Не для того ли, чтобы очернить Карнаухова, создать определенный фон и затем перейти к Юльке, Бабич обвинял его в формальном, бездушном отношении к людям?

Когда, заканчивая свое выступление, Бабич предложил собравшимся продолжить разговор, начатый коммунистами цеха, и приподнял в руке протокол партгруппы прядильщиков, за столом заседаний все оживилось. У Карнаухова мелькнуло: ловкий Бабич, знает, как подогреть, раскачать людей.

Все, что было дальше, смешалось в представлении Карнаухова, и ему трудно было восстановить все по порядку. Впечатления сливались во что-то одно, тяжелое.

Выступавшие говорили о том, что Карнаухов подменял собой всю партийную организацию и неправильно пользовался своим авторитетом, что он решал вопросы как будто с заботой о деле и, возможно, сам в это верил, но иногда получалось совсем наоборот. Ведь правда заключалась в том, что главк виновен в неиспользовании новой техники: на толстой нитке легче гнать план. Но за такую чреватую неприятностями правду надо было побороться.

Карнаухов вдруг увидел растерянное лицо Лобанова и понял, что и для него заседание пошло по непредвиденному руслу. В этот момент вскочил на ноги Коркешин, бодрый, точно умытый, и громко, с сознанием важности своего места в разбираемом деле сказал:

— Разрешите дополнить? Я сосед товарища Карнаухова по квартире. Жена товарища Карнаухова — достойный товарищ, член партии. Она когда приезжает к нему, — он быстро бесстрашно взглянул на Карнаухова, — она в ванне его моет. Ну, прямо как дитя. Я к тому говорю, чтоб обратить внимание, на кого человек променял свою верную подругу! А променял он ее, между прочим, на проходимку!

Это было то самое, к чему готовился, чего так нервно ждал Карнаухов. Но Коркешина выслушали и снова заговорили о работе парткома.

— За всех нас думал Карнаухов, а мы мирились с этим, нас это даже устраивало...— Карнаухов и сейчас видел взволнованное лицо Федора Барулина, такое ненавистное ему в последнее время, слышал его горячие слова: — Не один Карнаухов несет ответственность. Я говорю о себе...

После Барулина люди заговорили так, точно их прорвало, точно они только и ждали этого часа. И тогда вот он услышал о себе: это он, оказывается, порождает равнодушие и по его вине люди отучались думать, верить в себя.

Карнаухов возвращался по ночному городу, взбудораженный, измученный. Он напрягал мозг, чтобы собраться с мыслями, понять, что произошло. К горькому чувству обиды примешивалось смятение: люди, о которых он имел достаточно четкое представление, оказались сегодня совсем другими. Может быть, что-то произошло, изменилось, чего-то он не понимает.

Он подумал, что ему предстоит еще говорить о своих отношениях с Юлькой — несколько человек не успели высказаться, и заседание парткома перенесли на следующий день. Что он скажет? Порвал с ней, осознав... Или признает, что оступился, и попросит дать ему возможность искупить свой проступок? Противно. А бывало так, что он и сам добивался таких признаний от других.

Откуда-то издалека выплыли на секунду белесые косички дочери и не заполнили ноющей пустоты в душе. Нет, в рухнувшую семью он больше не вернется. Он страшно устал, хотелось одного — добраться домой. Его обдало вдруг жилым, человеческим запахом: возле булочной разгружали машину и дымящиеся лотки с хлебом проносили над тротуаром.

Карнаухов медленно прошел мимо. Еще некоторое время ему вслед доносился в сыром воздухе запах теплого хлеба, и Карнаухов глубоко вдыхал его.

Он свернул за угол и вздрогнул, увидев Юльку. Она была видна издалека в своем светлом пальто с цигейковым воротником. Она стояла возле его подъезда. Подойдя ближе, он поздоровался. Юлька ответила:

— Здравствуй!

Спрятав руки в рукава пальто, продрогшая, съежившаяся, она тревожно смотрела на него. Поднятый воротник заслонял лицо Карнаухова.

— Пойдем,— сказал он.

Поднимаясь по лестнице, он слышал, как за ним, шаг за шагом, тихо шла Юлька.

В комнате Карнаухов сбросил пальто прямо на раскладушку и достал папиросу — он страшно давно не курил. Он поднес к лицу спичку, у него дрожала рука.

Юлька в нерешительности остановилась у двери. Карнаухов молча посмотрел на нее и отошел к окну. Юлька опустилась на стул, не снимая намокшего пальто.

Стоя у окна, Карнаухов жадно затягивался дымом и смотрел на освещенную фонарями улицу.

— На всю ночь заладил, — сказал он.

— Да, наверно, — волнуясь, сказала Юлька. — Вроде уже и весна близко, а все снег. — Ей хотелось спросить о решении комиссии, но не хватило духу. Она со щемящим чувством смотрела на Карнаухова, изнуренно прижавшегося к окну, и вдруг поняла, что этот трудный, заблудившийся и верный человек — ее судьба. От волнения Юлька закрыла лицо неслушающимися, загрубевшими на холоде руками.

Карнаухов не оборачивался от окна. Напротив на тротуаре милиционер беседовал с дворником. Карнаухов слышал, как Юлька, вздыхая, снимала пальто.

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Количество пред. выдач \_\_\_\_\_

7312

Художественный редактор **Э. М. Розен**  
Технический редактор **Н. Е. Боярская**  
Корректор **Л. М. Логунова**

Сд. в наб. 26.7.68 г. Подп. к печ. 21.1.69 г. Форм.  
бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 3,0. Усл. печ. л. 4,20.  
Уч.-изд. л. 6,24. Изд. инд. ЛХ-260. А02823. Тираж  
50 000 экз. Цена 19 коп. Бумага № 2.

Издательство «Советская Россия».  
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров РСФСР,  
г. Электросталь Московской области, Школьная,  
25. Заказ № 647.

19 коп.

● Советская Россия ● Советская Россия ● Советская Россия



